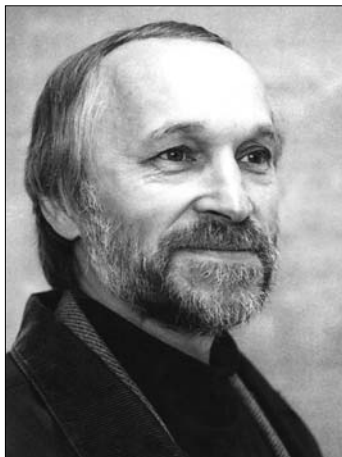


МИХАИЛ ПОПОВ



ЗОЛОТАЯ ДОРОЖКА ПОПЕРЁК ЛЕТЕЙСКИХ ВОД

ПОВЕСТЬ

1

До репетиции оставалось полчаса. Родюшин решил навеститься в литературную часть. Сокращая путь, он пошёл не вокругую, а через сцену, и — то ли потому, что ещё не освоился, то ли скудость освещения была причиной, — в закулисье малость заплутал и даже ударился головой о какой-то выступ.

— Неча голову-то задирать, — раздалось из дальних потёмков, голос был нагсадный и скрипучий. — Тут те не триумфальная арка.

Потирая маковку — хорошо, не лоб, а то сверкал бы! — морщась от боли и досады, Родюшин стал медленно продвигаться на свет дальнего фонаря, но у середины кулис остановился и даже тихонько вернулся назад. Зачем? Ему послышалось два голоса, когда он шагнул за кулисы.

— ...Вот она и говорит той, мол, эти приглашённые режиссёры, что одноразовые шприцы: один укол — и в мусор. — Голос был молодой, озороватый, не иначе слегка захмелённый.

ПОПОВ Михаил Константинович родился в 1947 году. Окончил Ленинградский государственный университет. Работал слесарем-монтажником и лаборантом-ультразвуковиком на военном судоремонтном заводе (Северодвинск), в геологоразведке на Северном Тимане, профессиональным рыбаком в Прибалтике. Последние двенадцать лет — редактор журнала “Двина”. Пишет прозу, публицистику, произведения для детей и юношества. Автор двух с половиной десятков книг. Отмечен рядом всероссийских премий, а также международными премиями имени М. А. Шолохова и “Полярная звезда”. Лауреат премии журнала “Наши современники” за 2012 год.

— Э-э, — раздалось в ответ, не сразу так, а погода, словно после театральной паузы. Впрочем, здесь нужды в ней не было. Пауза требовалась не по диалогу, а, скорее, чтобы дожевать закуску. — Неудачное сравнение, друг Горацио. Шприцы — тьфу! Что он впрыснет, тот шприц — вот вопрос. Ладно глюкозу. Для вящей бодрости. Или...

— Шило, — встрял “Горацио” и цокнул языком, видать, сопроводив этот звук щелчком под скулу.

— Во-во, аква-вита, — теперь уже с театральной значительностью отозвался собеседник, он явно был старше. — Для увеселения, так сказать. Для ободрения Хомы сапиенса, а также брата его Брута. — Он снова помедлил, явно оценивая изречённое: — Это по содержанию. А и форма ведь бывает переменчива, даром что... А ну, как шприц обернётся шипом, а-а! Да не розы — анчара! Помнишь? “К нему и птица не летит...” Или клинком... Слышь, Гертруда? Герой труда... Ах, как бывалоча: “Лети, клинок, лети...” — Тут опять возникла пауза. На сей раз она была явно не преднамеренная, а по причине потери генеральной мысли. Но раздавшееся бульканье всё вернуло на свои места:

— Шприц — тьфу! Не шприц — клинок! И на тот клинок, аки на шампур, — всю трупшу с потрохами. Труп трупы. У них же там и так ладу нет, а развороши...

Не дослушав диалога, в котором речь шла о нём, Родюшин боком-боком, стараясь ничего не задеть, этакой тенью устремился к свету. Надо будет фонарик купить, чтобы не плутать в этом зазеркалье. Да и на улице пригодится — темнеет рано, как-никак осень на дворе.

На подходе к литчасти Родюшин глянул в стекло пожарного гидранта. Волосы торчали во все стороны. “Сено-солома”, — говаривала, бывало, тётя Маня, приглаживая его детскую шевелюру. Двумя пятернями он забрал волосы назад, попутно коснувшись места ушиба. Липко. Похоже, разбил. Взявшись за дверную ручку, Родюшин помедлил. В обычно тихой литчасти нынче слышались голоса. Чей был один из них, было понятно, — Ларисы, хозяйки этого заведения. А другие? Он постучал погромче, но ответа не дождался и вошёл.

Литчасть была разделена надвое, справа на рядах стеллажей стояли книги, слева — папки с пьесами, брошюрами, театральные журналы. А в конце просторного прохода как раз против окна стоял письменный стол. За ним, как обычно, сидела Лариса, крупная полнеющая брюнетка, а нынче — по сторонам стола — ещё две молодые особы. Они чаёвничали.

— “Три девицы под окном...” — вместо приветствия произнёс Родюшин.

— ...Рассуждали об одном... — подхватила та, что сидела справа, — востроглазая и миниатюрная, прямо-таки Дюймовочка.

— О ком или о чём? — неспешно подходя к столу, осведомился Родюшин.

— Да всё о том же, батюшка, — таким смиренным голосом, потушив очи долу, произнесла сидевшая слева девица. У неё были тонкие черты, а луч солнца так просвечивал её изящные пальцы, словно они были продолжением золотистой фарфоровой чашечки, такая золотая роза.

Последовала маленькая пауза, девицы обменялись взглядами и дружно по мановению той же смиренницы выпалили:

— “Я б для батюшки-царя родила богатыря!”

— Та-ак, — чуть растерянно протянул Родюшин, — в чём же дело?! — И, стараясь попасть в тон, но не перегнуть, усмехнулся: — Даёшь улучшение демографии!

— А кто же будет на телеграфе работать? — Это опять та, что слева: глаза зелёные, солнышко при повороте их насквозь просвечивает, а дна-то там, похоже, нет.

По-прежнему улыбаясь, Родюшин вопросительно взглянул на Ларису. Обычно тихая, предупредительная, явно стесняющаяся своей полноты, рядом с подругами она была раскованнее и даже подмигнула:

— Вот так, Денис Геннадьевич. Умище-то никуда не денешь. Филфак за плечами. Вместе учились. — И уже спохватившись, извиняющимся тоном предложила присесть.

Нет-нет, отказался жестом Родюшин, постучал пальцем по наручным часам, дескать, на минутку, и обвёл их взглядом:

— Стало быть, три сестры? — Но вопрос обратился к зеленоглазой, ведь это она обозначила чеховский сюжет. — В таком разе я вроде дяди Бани, который ведёт учёт всему и всем. — И без перехода обратился взгляд направо: — С телеграфисткой мы определились. Вы — Ирина. — Дюймовочка при этом даже встопорщила плечики. — А вы, — он снова повернулся к зеленоглазке, — выходит, преподаёте в женской гимназии.

— Преподаю, — чуть замедленнее, видимо дивясь отгадке, отозвалась она и тут же поправила: — Только не в гимназии, а в вечерней школе. И не математику, а английский язык.

— О, — слегка утрируя, лишь обозначив речь персонажа, оценил он, — мы ещё и вышивать умеем?..

— О да, — в тон подхватила она, — и крестом болгарским, и гладью...

— А “Чайку” вашу мы тоже проходили, — кокетливо по-женски, но простодушно по-школярски добавила Дюймовочка.

Зеленоглазая, кивнув на неё, вернула к началу:

— У Иры с одной из сестёр совпадение. А меня зовут Даша. Но Ира не на телеграфе... Хотя... стук там тот ещё. Не стук — пальба.

Родюшин вопросительно вскинул брови.

— Она заведует оружейной лавкой.

— О как! — искренне удивился Родюшин. — Женщина в сугубо мужском деле... — И почему-то обратился взглядом к Ларисе:

— Если ружьё у нас висит на стене, стало быть?..

— К концу пьесы обязательно выстрелит, — словно на экзамене, чуть удивлённо и озадаченно подхватила та.

— Вот! — Родюшин поднял палец и попутно глянул на часы. — То же относится и к последней фразе. Зачем нынче приходил Штирлиц? Разумеется, познакомиться с барышнями. Это главная цель. А повод — томик Чехова. Мне нужна переписка Антона Павловича. Есть в вашем царстве, Лариса?

— А вот сверху, — Лариса повела подбородком влево, отчего складки на шее разгладились. — Собрание сочинений, коричневый переплёт. Последний том, двенадцатый...

— А записные книжки?

— Рядом — одиннадцатый.

— Запишите на меня. — Родюшин извлёк с полки два тома и с поклоном, со словами “до встречи, до свидания, барышни” вышел.

Едва дверь закрылась, снова раздался голоса. Родюшин усмехнулся, но в отличие от царя Салтана не стал стоять “позади забора”, а скорым шагом направился в репетиционную.

2

Предыдущая читка не задалась. Выходила какая-то нескладница, словно это была не профессиональная труппа, а школяры-второклассники, забывшие за лето все навыки и с трудом читающие по слогам. Не попадали в тон даже опытные актёры. Но особенно эта девочка, которую определили на роль Заречной, — Горникова. Она то лепетала что-то невнятно, то вдруг вскрикивала, словно в экзальтации. Оно понятно — первая большая роль, ответственность, волнение. Но тут, похоже, было не только это. Вчерашняя выпускница, мами-папина дочка. Много ли у неё за душой?! Не в этом ли главная причина?

Нынче была третья читка, не репетиция, а именно читка. Потому что Родюшин всё ещё не решил с исполнителями. Режиссёр сидел во главе длинного и просторного стола, за которым расположились двенадцать актёров. Открыв пьесу, он перелистал первые страницы.

— С чего начнём? — Взгляд его коснулся профиля Горниковой, она сидела второй слева. Снова слушать этот лепет? Эти всхлипы? Нет уж, увольте! Надо пропустить первые сцены, иначе опять будет сбой.

Родюшин не следил за текстом, он знал его почти наизусть. Он наблюдал и вслушивался. В этом блоке сцен у Луканиной реплик немного. Одна

про шляпу, которую она уговаривает Дорна надеть, а ещё про далёкую песню. Реплика важная. Сказанная в ответ на то, что где-то поют, и хорошо поют. — “Это на том берегу”. Как вздох, как всхлип о невозвратном. И он уже не сомневался, что Луканина произнесёт её точно, как надо, как заповедал Антон Павлович.

Пьеса — длинный монолог Заречной. Голос Горниковой, прерывистый и захлёбывающийся, словно она остерегается, что режиссёр снова прервёт её. Довела до конца. Вроде то, да совсем не то. Ведь пьеса эта — монолог об одиночестве и сиротстве. “Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить...” К кому, девочка, ты обращаешься? Перед тобой пустыня, безлюдье. Это надо испытать, пережить... А ты благополучная девочка, после школы — да в актрисули. Ещё, похоже, и не любила. А талант-то с воробыный клювик. На мастерстве, опыте, как Стромиллова, роль не прочиркаешь. “Вот приближается мой могучий противник, дьявол”. Разве так это надо произносить? С ощущением фейерверка? Но это же дьявол! С омерзением? Но...

Родюшин чувствовал, как в нём закипает раздражение. Здесь оно вырывается и у его персонажа — Треплев по ходу не воспринимаемой публикой пьесы гневается. Но для репетиционной оно нарочито, как нарочито отстранённость и холодность Стромилловой. Однако сдержаться он уже не мог, и реплики Треплева, настаивающего закрыть занавес, бросил резче, чем требовалось, отчего актёры даже повернули к нему головы, а Стромиллова покосилась вверх очков. Но это не остановило Родюшина. Следующую реплику он бросил едва ли не как вызов: “Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию!”

Директор заявил, что — кровь из носу — премьеру надо сыграть не в декабре, а в конце ноября. Таково требование дня. И точка. Тут бы Родюшину вскипеть, взвиться, в крайнем случае, просто возразить: можно ли за всего ничего что-то сделать, тем паче оговаривали-то в декабре? Нет, он даже улыбнулся, представив лоснящуюся физиономию господина импресарио. Его умилило, что едва ли не впервые за время знакомства директор правильно употребил фразеологический оборот. А то ведь до хохота доходило, правда, не явного. При первой же встрече в начале сентября директор, завершая отчитывать какого-то тщедушного мужичка — осветителя или декоратора, — погрозил тому пальцем: “Смотри у меня. Чтoб последний раз. А то буду с тобой разговаривать тетё с тетё”. А на днях, выражая несогласие актёру, чего-то требующему, насупил свои крашенные брови: “Ты понимаешь, что это анонс?!” Он имел в виду нонсенс. Ну, прямо-таки персонаж горьковской пьесы!

* * *

После перерыва Родюшин сменил тональность, до того его умилил директор. И начал читку с вопроса:

— Сусанна Львовна, кем был ваш муж?

Стромиллова вздрогнула, вскинула голову, взглянула на него — в глазах из-под очков было непонимание, лёгкое смятение и даже, кажется, растерянность.

— Извините. — Родюшин тряхнул головой, волосы растрепались, он обеими пятернями закинул их назад, обнажив просторный лоб. — Я хотел сказать, кем был муж Аркадиной, точнее, кем был отец Константина, а может, и дед.

Он обвёл актёров взглядом:

— Давайте порассуждаем... Сын — Константин Гаврилович. Отец его Гавриил или Гаврила. Скорее всего Гавриил. Хотя Державин, сын мелкопоместного дворянина, — Гаврила, Гаврила Романович. Родился отец Константина в Киеве. Киевский мещанин. И попал в театр, в актёры. Почему? Может быть, это от матушки — она актёркой была? Или от отца, любителя

цыганщины, скажем, военного, предметнее — гусара? Мог быть Гаврюша внебрачным сыном? Вполне. Кавалерийский полк. Летние лагеря. Рядом дачная местность. Юная девица, дочь киевского чиновничка, может, даже гимназистка на каникулах, влюбляется в юного поручика, любителя оперетки, и через определённый срок является на свет божий Гаврик. По святцам, собор Архангела Гавриила — в конце марта. Подходит? Вполне. А может, наоборот? Не летние лагеря, а зимние квартиры, это уже в самом Киеве? И тогда Гаврюша является на свет в июле, опять же по святцам. Я не случайно это говорю. Чья кровь в отце Константина и соответственно — в Константине. Красивый улан, гусар, казачий есаул... Может быть? Может. Или чиновник средней руки, гуляющий втихую. Закулисье, букеттики цветов, адюльтер, обещание увезти за границу, а потом — как в воду... Или просто ловелас в обывательском смысле, Дон Жуан, возможно, из театральной среды, амплуа “первый любовник”. Кто бы он мог быть, дед Константина, как вы думаете, Сусанна Львовна?

Строилова оделила его взглядом, в котором уже не было растерянности, и взгляд сей свидетельствовал об одном: она прикидывала, кто перед ней — мальчик-попрыгунчик, который бахвалится знаниями, осведомлённостью, интеллектом, или всего-навсего шиз?

И тут для того ли, чтобы нарушить молчание, или и впрямь имея что-то на уме, подала голос Луканина:

— Так далеко трудно заглянуть, Денис Геннадьевич. Сведений-то в пьесе особых нет. Не исключено, что Гавриил — сын какого-нибудь Счастливецца или Несчастливецца, которые кочевали по всей России, меняя театры. И тогда вырос он за кулисами. А может, он — актёр в первом поколении, Чехов устами Треплева характеризует, что он известный актёр, то есть, возможно, самородок, человек, наделённый талантом... Но тут... — Серафима Андреевна сделала паузу, это была не театральная пауза, а работа мысли, ума, она даже нетеатрально потёрла переносицу. — Тут, мне кажется, важнее, не кто он, а почему его нет. Умер от чахотки, как Чехов; трагически погиб, убит на дуэли?.. Всё может быть. Но мне думается, что ключ к этой загадке — реплика Аркадиной в конце пьесы. Раздаётся хлопок — это выстрел, которым обрывает свою жизнь Константин. Она устало роняет: “Это мне напомнило, как...” Что напомнило? Видимо, давний роковой выстрел — самоубийство мужа, отца Константина, по характеру сына — отчаянного ревнивца, а уж Аркадина поводов давала...

— Bravo, Серафима Андреевна! — Родюшин даже привстал, прихлопнув в ладоши, потом быстро-быстро потёр ими и загребущими пятернями закинул волосы назад. — Логика есть, логика очевидна. Мне как Треплеву это нравится. — И тут же, без перехода, не делая паузы, предложил Строиловой и Луканиной поменяться ролями. — Продолжим с момента, когда Треплев, что называется, хлопает дверью, бросаясь прочь после осмеянной постановки. — И повёл рукой в сторону Луканиной, и даже тихо напомнил реплику.

— “Что с ним?” — повторила Луканина, ещё машинально, ещё недомненно, ещё косясь на Строилову. Она оказалась меж двух огней, не зная, чью партию принять. Сцена, поистине достойная театра! Луканина косится на Строилову. Строилова из-под очков гневно взирает на режиссёра, дескать, что это там за существо такое. Не иначе это она сравнила залётного режиссёра с одноразовым шприцем. Но Родюшину некогда вдаваться в объяснения, тем паче какие-то обиды. Вздор!

— Это тренаж. Хочу уточнить рисунок, сравнить темпоритм. Ещё раз Аркадина, — он кивает Луканиной.

— “Что с ним?” — уже одолевая замешательство, вновь произносит Луканина фразу Аркадиной.

Эта сцена идёт без него, то есть без Треплева. Теперь не надо отвлекаться на собственные реплики и можно сосредоточиться на читке. Нет, минутную другую спустя поправляет Родюшин сам себя, это уже не читка — началась репетиция. Уже окрас фраз, интонация появились, явилась, наконец, Аркадина, и все остальные актёры, подчиняемые центростремительной силе, оживились.

Стромилова, конечно, разыгралась бы и взяла своё, одолев неприязнь к нему, неведомо чем вызванную, мастерством взяла бы, опытом. Но это когда ещё... А времени в обрез. Что там вождь-директор изрекал!

Родюшин не шевелясь, почти не дыша, следил за игрой. Стромилова, возможно, была бы убедительнее в роли Аркадиной. Но Луканина-то уже ведёт роль, уже рисует её. Уже и плечи в игре, и жесты, и мимика. Ещё чувствуется остаток скованности, вины перед Стромиловой, но она уже погружается в роль и даже ему, Родюшину, словно сигналы подаёт. “Капризный самолюбивый мальчик” — это ведь не только к его персонажу. И далее точно — то, что требуется. Тут и оправдание своего, аркадинского характера, и попытка объяснить, что права она, человек искусства, актриса с большим опытом, а не сын, ещё несмышлёныш. Однако не по-комиссарски, как сделала бы в меру уверенно Стромилова, а на тон мягче.

По ходу репетиции Родюшин делал пометки. На полях пьесы то появлялась галочка — это означало сместить акцент, то волнистая линия — уточнить тоналность фразы. Но в целом ему нравилась работа актёров. Особенно Луканиной. Она так вдохновенно вела свою партию, что с какого-то момента он просто залюбовался, забыв про свой ревизорский карандаш. Больше того, именно её игра вдруг навела его на одну мысль. Это когда Аркадина вспоминает, как тут, у озера, кипела жизнь много лет назад: “Помню, смех, шум, стрельба, и всё романы, романы...” А дальше — о докторе Дорне, который был кумиром “всех этих шести усадеб” и в театральном смысле “героём-любовником”. Ба, вдруг озарило Родюшина, а ведь Дорн вполне мог принимать у неё роды, поскольку сам говорит, что “по всей губернии был единственным порядочным акушером”.

Догадка эта неожиданно аукнулась другой. На сей раз под занавес первого действия её подарил Родюшину Полежич.

Выбор Полежича на роль Дорна был безупречным. Ещё не увядшая мужская красота. Породистый нос. Благородная седина кудрей — никакого парика не надо! Близорукость? Так надо пенсне надеть, как у Антона Павловича, с круглыми стёклами.

По характеристикам Аркадиной и Полины Андреевны, Дорн — сердце-ед, тот ещё ходок, как говорят теперь в народе. И вот в концовке первого действия, когда Маша Шамраева бросается к Дорну, Родюшина и осенило, до того точно, ласково и мягко вёл партию Полежич. Да Маша-то, скорее всего, не дочь управляющего именем, а дочь доктора Дорна, тайно связанного с её матерью, Полиной Андреевной. Вон как она кидается к нему, словно чья правду нутром: — “Я не люблю своего отца... но к вам лежит моё сердце... я всей душой чувствую, что вы мне близки...”

3

Репетиция закончилась. Актёры потянулись к выходу. Красноречиво гневный взгляд Стромиловой, брошенный напоследок, и испытующе озадаченный — Луканиной Родюшин воспринял спокойно. Более того, он не упустил случая глянуть примам вслед и сравнить их фигуры.

Аркадиной в пьесе сорок три года, к тому же следит за собой. “Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть”, — нахваливает она себя. А примы — старше. Причём намного. Но при этом Луканина, без сомнения, выигрывает. С пятнадцатилетней не сравнить, но форму держит. А Стромилова “поплыла”, раздалась — и конституция, и возраст. Реплика про пятнадцатилетнюю в её устах вызовет у зрителя ненужную усмешку. Ей уже матрон играть, нянюшек да бабушек. Тут уж и парик молодежавый не спасает, тем паче что он весьма траченный...

В коридоре неподалёку от репетиционной Родюшина остановила Горникова. В глазах смятение, обида, затаённый гнев.

— Почему вы меня обходите? Уже третью читку... Почему не даёте репетировать?

Лицо пятнами, губы дрожат. Сейчас, понял Родюшин, прозвучит заготовленная фраза.

— Как же “Чайка” без Нины? Это же как озеро без чайки!

Вроде даже и красиво. Почти из пьесы. Но... Неубедительно. Есть ведь озёра и без чаек, там, где среда неблагоприятная — большая глубина, следовательно, мало корма, либо донные сернистые испарения.

— Погодите, Оля. Разберёмся, — ответил Родюшин и сам почувствовал: не то, как и её реплика. Впрочем, как аукнется, так и откликнется. Она догадалась, ещё больше напряглась. Губки надуты, в глазах слёзы, вот-вот тушь потечёт.

— Я в выпуске нашем все первые роли играла, — вызывающе выпалила она, но поперхнулась и закончила совсем по-детски:

— А вы?! — И развернулась, неловко подвернув каблук, и метнулась прочь, совсем не по-театральному заламывая руки.

Глядя ей вслед, Родюшин досадливо поморщился. Но не на неё — на себя.

Тут из-за угла вышел Портнов. Сухощавый, высокий, глаз острый, с прищуром. Проводив взглядом Ольгу, он перевёл внимание на Родюшина.

— Ну, хотя бы и так, — в голосе ещё послевкусие роли, но ирония уже своя. — А то ведь как они нынче — с парты — да в училище театральное, да потом сразу на сцену. Ничегошеньки ведь тут... — он постучал ладонью по груди, — ан нет: надо под софиты, перед камерой, на красную дорожку...

Чего тут было больше — старческого брюзжания или личной обиды? Родюшин прищурился. Глаза их были на одном уровне. Сколько ему? Изрядно за пятьдесят. В отцы той же Оле, что называется, годится... Это Родюшин оценил мимоходом. А подумал о том, что реплика Портнова недостойна Тригорина, которого он играет. Мелковат Портнов для Тригорина. Он не опустил ся бы до такого. “Всем места хватит”, — тригоринская реплика. А с другой стороны — Портнов на месте. И внешне, и по тембру голоса, и по пластике. Играет точно, отделяя своё. А реплика — что?! Может, действительно возраст сказывается — первые намёки старческого брюзжания. Но в любом случае, это не подобострастие, не желание потрафить режиссёру, хозяину сцены. Возможно, много играл героев-резонёров, которые режут правду-матку. Это ведь диффузия, как говорится в физике. Роли проникают и в плоть, и в кровь.

— Игорь Дмитриевич, — Родюшин тронул Портнова за локоть, — хочу с вами посоветоваться.

Портнов склонил голову, при этом на маковке открылась тонзурка, тщательно зачёсанная. Родюшин замешкался: иронизирует, варьирует роль или и впрямь демонстрирует учтивость? Учтивость — черта Тригорина. Тригорин — человек одержимый, его страсть — сочинительство, во всём остальном он безвольный. Почему? Потому что интеллигент? Но интеллигент — не французская булка, что сжимается под пальцами.

— Вы не будете возражать, Игорь Дмитрич, — Родюшин доверительно сократил отчество Портнова, — если в одном из спектаклей я вас заменю? Да, пожалуй, не в спектакле — на репетиции, ближе к генеральной...

— Кем же?.. — насторожился Портнов.

— А собой.

— Погодите, — Портнов пожал узкими плечами, — вы же Треплева играете...

— Вот в том-то и дело, — Родюшин сомкнул два указательных пальца. — Треплев и Тригорин — две ипостаси одного человека. Так мне видится. Хоть в чём-то и разные.

— Но как же голос, модуляции?..

— А я попробую, — Родюшин живо понизил голос, словно уже переходя к игре. — То своим, треплевским, то осанистым — тригоринским.

Портнов оценил это, но...

— А реквизиит?

— Плащ накину — это Тригорин, а под ним толстовка — это уже Треплев. — Жестами и мимикой Родюшин показал, что уже всё продумал.

— Это называется “посоветоваться”, — усмехнулся Портнов, в голосе появилась тягучесть воловьей жилы. — Что ж, извольте... Хозяин — барин.

— Только проба, Игорь Дмитрич, — сокращая дистанцию, улыбнулся Родюшин и ладонью припечатал свою грудь. — Вы же в спектакле на месте! Что вы!

Этим “что вы!” он вроде как сам обиделся, дескать, как вы и подумать могли, неужели вы так думаете?! А это уже почти “да как же вы смели?!”

То-то Портнов расслабился. Даже брылья, подтянутые волей и осанкой, словно вислые бакенбарды, появились. Возраст-возраст... Тут не только в отцы — кому-то и в деды уже годится.

Диалог, понял Родюшин, состоялся. Надо было достойно его завершить.

— Ну, вот и договорились, — сказал он, улыбаясь. — Разок только... Да и всем будет любопытно, как режиссёр вертится. “Фигаро здесь, Фигаро там...” Представьте сцену, как Тригорин передаёт Треплеву журнал. То-то смеху будет...

На этом они раскланялись, и Родюшин пошёл к себе, в “берлогу”. Проходя сценой, он увидел двух монтировщиков. Они ставили декорации к вечернему спектаклю — судя по шутейно-легковесному оформлению, какому-то водевилю. Один был молодой, длиннорукий и тонкошей. Другой старше, осанистее, на голове его, как шляпка гвоздя, сидел линиялый берет. Он узнал их. Это были те, кого Родюшин слышал, но не видел утром. Конечно, те, хотя сейчас, сморённые долгими бражными заседаниями, они молчали. Чтобы привлечь их внимание, Родюшин мимоходом уронил часть декорации — садовую скамейку, стоящую на пути. Монтировщики подняли свои утомлённые взоры и глянули на него укоризненно и осуждающе. Но Родюшин не остановился, чтобы исправить содеянное. Более того, даже не удостоил их вниманием. Зато громко и чётко сказал:

— Клинок, конечно, лучше! Шприц, даже и с глюкозой, — так себе! А шампур и вовсе хренота!

Ответом было задумчивое — не меньше чем ещё на час — молчание. Но лицеизреть эту немую сцену Родюшин не стал. С режиссёрской точки зрения она не представляла ценности.

4

Усталость навалилась сразу, едва Родюшин добрался до “берлоги”. Хотелось кинуться в кровать, забыться глубоким сном, чтобы не думать и не маяться, барахтаясь в водоворотах придуманных и реальных судеб. Однако первым делом, скинув светлый вельветовый пиджак, Родюшин завалился на пол — именно так он приспособился “рихтовать застарелую тыловую часть”, как выражался один прапор, имея в виду спину. И надо же было случиться — забыл запереть дверь! Не успел он немного прийти в себя — заявился Луньков.

Будь на месте Лунькова кто-то другой, Родюшин не стал бы церемониться и если бы не выставил, то нашёл бы множество доводов и причин, чтобы тут же выпроводить незваного гостя. Но с Алексеем Ильичом так обходиться было нельзя. Во-первых, он был самым первым актёром из этой труппы, с кем познакомился Родюшин, — вот так же, без церемоний, он “нанёс визит”, едва приезжий режиссёр поселился в этом номере. Во-вторых, он без околичностей, в меру объективно, но, понятно, не без пристрастности набросал портреты актёров, с которыми режиссёру придётся работать, что оказалось весьма и весьма кстати. В-третьих, он стал первым из актёров, кого Родюшин определил на роль. “Шамраев”, — указал режиссёр на него пальцем, когда они уже о многом переговорили. “Правильно”, — без ложной скромности одобрил Луньков и в качестве дополнительного аргумента добавил, что ему доводилось и Ноздрёва играть. Каким он был Ноздрёвым, Родюшин выяснять не стал. Но в том своём первоначальном выборе ни разу не усомнился. Шамраев — управляющий имением, поручик в отставке, хамоватый, бесцеремонный, самоуверенный. Луньков в смысле внешнего лоска попроще — не поручик, а, скажем, Ванька-взводный, пропахший если не окопной махрой, то уж никак не “Герцеговиной флор”. Но характер, манеры, кураж, безусловно, те — шамраевские. Так увиделось Родюшину по первости. Потом

жизнь кое-что уточнила. Луньков оказался вполне душевным и покладистым человеком. В отличие от своего персонажа, который даже барыне, хозяйке имения, не даёт лошадей, Луньков сам предлагал свой “табун каурых” — старую “мазду”, когда режиссёру было нужно. Больше того, Луньков понимал толк и в режиссуре, и в актёрской органике, и в подборе актёров. Когда возникла проблема с ролью Сорина — никак не находился таковой среди артистов действующей труппы, — Луньков посоветовал обратиться к ветерану сцены Тулинскому. “У Юрия Глебовича худо с ногами, зато всё, что выше — будьте-нате!” — всхотнул Луньков и при этом постучал ладонью по лбу.

Застав режиссёра на полу, Луньков, похоже, ничуть не удивился.

— Я тоже так иногда отмякаю, — и попытку Родюшина переменить положение упредил:

— Ты лежи-лежи... А я тем временем чаёк сгоношу, если чего другого не желаешь, — добавил он по-свойски.

Другого Родюшин не желал. И Луньков не стал более докучать, тем паче что сам уже, похоже, “остограмился”.

Зачем он пожаловал, Родюшин догадывался. Ещё на репетиции режиссёр перехватил несколько поглядок актёров, в том числе и Лунькова. Речь он непременно заведёт о репетиции и о том, что там случилось. Так и оказалось. Человек открытый, бесхитростный и бесцеремонный, Луньков сразу взял быка за рога. Его крайне удивила сделанная “рокировка”, и особенно он был удручён тем, как режиссёр обошёлся со Стромилловой. Родюшин приподнялся и незаметно усмехнулся. Слышала бы Сусанна Львовна, кто за неё хлопочет. Но по мере разговора ирония его прошла, хотя недоумение и осталось. Луньков не просил — объяснял. А из его сбивчивого — с пятого на десятое — рассказа выяснилось нечто и вовсе неожиданное.

Стромиллову — фамилия своя, девичья — с будущим мужем свело студенчество, их вузы были по соседству. Очарование юности, фронда, эпатаж, запретные стихи, книги и прочее, и прочее... Потом началась жизнь. Неудобства, неустроенность. Но не столько быт, о который так часто *разбивается любовная лодка*, сколько несовпадение представлений о месте и назначении друг друга. А шло это от неё, Сусанны Стромилловой. Первая в театре, она и в семье должна быть первой!

— Муж-то, Пётр, он художник, уже после, когда давно не жили, в какой-то компании, подвыпивши, открылся. Представляешь, говорит, что она заявила: а почему бы тебе не посвятить всего себя мне, то есть оставь своё и служи моему величеству. Так он передал. Я-то такое перевёл бы в шутку. Дескать, что ты, милочка, я и так тебе служу... А он это как оскорбление воспринял, дескать, твоё — это шпик, вся эта мазня, картинки... Другое дело — моя сценка. Ну, какой мужик такое потерпит, ежели он мужик, конечно, и при деле!

Отчего Луньков тут же отошёл от своей ремарки, что лично он всё в шутку бы обратил? Да оттого, что тут он уже играл мужа Стромилловой, не иначе. И жесты, словно кистью, широким мазком по холсту, и прищур этот, оценивающий тот мазок, и вроде даже берёт над правой бровью навис.

Ох, уж эти актёры! Ни шагу без спектакля, ни жеста без игры! А само, осёк себя Родюшин, ведь то и дело ловишь себя на том, что играешь. И тут же успокоил себя: главное ведь не заигрывать, не заиграться.

Поднявшись с пола, Родюшин, морщась, свёл лопатки, поверочал правым плечом, придерживая его рукой, потом сел за стол и устался на Лунькова.

История, которую представил Луньков, была до определённого момента банальной — сколько пар соединяются, сколько расходятся, — если бы не ребёнок, которого занесло в житейский круговорот.

— Малец занятный, подвижный, весёлый. Всё говорило за то, что станет незаурядной личностью, столько в нём непосредственности, любознательности было. Насмотрелся по телеку на Леонида Ильича, повесил значков до пупка: “У меня тоже вся футболка награждённая!” Или делает зарядку, да вяло всё, едва одной рукой шевелит. Чего так? “Эта рука ещё спросонья”. А как вцепился в батькину ногу, когда тот уходил! Такое ведь ребёнку не внушишь, от сердечка шло. “Не уходи, папенька! Не уходи!” Это “не уходи!”, Пётр говорил, и удержало. Ведь, хотя они с Симой развелись, Лёвка

без отца не остался. Батька всюду таскал его с собой. На пленэр, считай, в походы — то пешком, то на моторке. В дома творчества брал. А раз на Тянь-Шань махнули. Во как!

Луньков прицокнул языком и, словно представляя те далёкие хребты, даже запрокинул голову, обнажив тонкую шею и острый кадык.

— Лет через пять у Петра образовалась новая семья, детишки пошли мал мала — две девочки и мальчик. А он всё с Лёвкой возится. В поход, в библиотеку, на родительское собрание — везде Пётр. Симе бы это ценить, да не перечить, не гнуть своё. А она всё как упрямая коза. В новую семью Петра водить Лёву запрещает, с детишками — братиком да сестрицами — знакомить не велит. Отчего, спрашивается? Да ревнует баба. Злития, что у Петра без неё всё в порядке. А сама при этом шашни демонстративно заводит. Представляешь? Петру-то это до лампочки. Но ведь в доме малец подрастает, его сын. Что же ты, курва, делаешь?! То один сосед — летун, то другой — мариман. А тут вдруг кителёк на вешалке в прихожей появился — майора милиции. Здравия желаю, товарищ подполковник!

Ёрничая, порицая, Луньков говорил со знанием дела и, похоже, больше, чем рассказывал Пётр. И обида, которая подчас мелькала в голосе, возникала, видимо, не только за Петра. А уж по глазам — на миг-другой масляным, и по жестам — слегка фатоватым, выходило, как в той сказке: “И я там был, мёд-пиво пил...”

Впрочем, самое-то главное оказалось дальше.

— Ему, Лёве, было лет четырнадцать, когда Сима зачихала его — куда бы ты думал? Ни за что не догадаешься! В эзотерическую школу! Тогда, в начале перестройки, чего только не открывалось на Русской земле, кажется, все навозные кучи и помойные ямы зацвели! Плати — и мы тебя научим тому, чем владеют только посвящённые! У кого не закружится голова от такого предложения! Вот и Симу это заворожило, благо самой не надо ломать голову, как и в каком духе воспитывать отпрыска. А уж решив это, не остановилась ни перед чем. Школа платная? Заплатим! Суммы немалые? Ничего, найдём! Пётр даёт ей деньги на сына, чтобы Лёвка был одет-обут, накормлен-обихожен — причём даёт без всяких исполнительных листов, — а она те деньги вбухивает в эту эзотерическую, точнее сказать, еретическую, школу и возражений его, Петра, не слушает, как всегда, не желает слышать.

Луньков помотал головой и застонал, как от зубной боли. Лицо его одутловатое побледнело, а нос ещё больше покраснел и стал как будто шире.

— Ну, скажите мне на милость, господа присяжные заседатели, был ли ум у этой бабы — маманька называется! — когда она зачихала в ту школу отрока! Ведь от тех знаний, того двухлетнего курса и взрослый свихнётся!

Луньков тяжело вздохнул, видно, ему не хватало воздуха.

— Я заглянул раз в Лёвкину комнату. Так веришь, как в средневековый подвал попал — таким духом пахнуло. На полках — сплошь чёрные книги. Хиромантия, каббала, не говоря уж про сонники, про масонов. “Чёрная книга сатаны”, “Сокровища алхимиков”... Тут даже я, на что покладишься, — он слегка вопросительно глянул на Родюшина, — и то вскипел. Ты соображаешь, куда ребёнка своего суёшь! Он ведь ещё дитя, подлётъш, у него неокрепшая психика, детский рассудок, а ты его голову в притвор чёрного подвала запикиваешь! И что? Не слушает. Отца своего ребёнка не слышит, а меня и подавно.

Луньков перевёл дух и, казалось, надолго затих, переживая былое, но нет — неожиданно хлопнул тыльной стороной руки о ладонь и даже всхотнул, хотя и натужно.

— Ну, что ж! Глухая, бессердечная, глупая, так получай! Проходит время. Лёвка переводится в вечернюю школу — ему уже не с руки с ровесниками, Пётр почти каждый вечер встречает и провожает его до дому, а параллельно заканчивает ту самую эзотерическую бурсу. И вот к семнадцати годам возникает такая музыка. Сын начинает отворачиваться от матери! Как, спросишь, так? А вот так. По гороскопам, которые он стал составлять, — выучили на маманину голову! — выяснилось, что они с матерью совершенно чуждые друг другу люди. Мало того, звёзды показывают, что они друг для

друга — настоящие враги. Как тебе такое?! Чуешь, какая пьеса?! Классикам и не снилось!

Тут Луньков совсем не играл. Губы дрожат, глаза полны слёз. Смятение — как, наверное, тогда, давно, — было подлинное, не сделаное. Другом Петра он не был, но приятельствовали. Пётр даже портрет написал и на выставке показал — “Актёр без грима” называется.

— Сколько с тех пор утекло воды! Сима — прима, прима Сима. И заслуженная, и лауреатша двух театральных премий, и орден на полтинник дали... А как мать — нуль. Сына родила, а его будто нет. Живут в трёхкомнатной квартире, не пересекаясь. Вон Луна к Земле ближе, — Луньков кивнул за окно, — чем они меж собой.

Луньков подошёл к окну, поглядел в небо, словно и впрямь измерил расстояние до небесного светила, почти полнотелого, потом снова повернулся к Родюшину.

— Ещё один штрих для полноты картины. Лёвка — на инвалидности. В пятнадцать лет, как раз в пору той самой учёбы, стало падать зрение. Что-то с сетчаткой. Кто знает, может, сама природа противилась чёрным знаниям. Так или иначе, зрение ухудшалось. Предлагали сделать операцию. В юности этот недуг устраняется хорошо. Опытные окулисты давали гарантию. Всё бы наладилось с глазами, если бы согласился. А он упёрся, отказался. В мистику уже впал. Добровольно ушёл в чёрный подвал и решил там остаться. В полумгле, почти в слепоте, с чёрными книгами...

Глаза Лунькова блестели, он отёр набежавшую слезу, смахнул другую, пожевал яростно губами, словно задавливая что-то в груди. Сейчас он был собой — немолодой, потёртый мужичонко, провинциальный актёр, пропахший дешёвым табаком, со своими сердечными болями, со своей житухой-некладухой, явно без женского догляда, о чём свидетельствовали обвисший серый свитер грубой вязки, потёртые донельзя джинсы.

— И сколько сыну сейчас?.. — отозвался Родюшин.

Перебрав зачем-то пальцами, как подсчитывают возраст малых детей, Алексей Ильич скорбно поджал губы:

— Тридцать шесть. Тридцать седьмой.

Родюшин кивнул:

— Ровесник, выходит...

Он представил Стромилу в роли своей матери, при этом мысленно определил — в качестве матери — и задумался. Что лучше: такая мать или совсем никакой?

Луньков, глядя на Родюшина, видимо, что-то почувствовал. Он даже уже забурчал, вытягивая из себя какую-то мысль. Но Родюшин перебил его.

— А помнишь, как мы ездили к Тулинскому?

Лицо Лунькова, одутловатое и озабоченное, неожиданно осветилось слабой улыбкой. Он пожал плечами — дескать, чего спрашиваешь? — я ведь сам тебя к нему возил.

Тулинский жил далеко, почти за городом. Раньше это была деревня, которую постепенно всосал ненасытный город. Однако дух деревенский город так и не переварил, не смог переварить. Всё здесь осталось, как было: маленькие домики в три-четыре окна, палисадники, на задах огороды. Таким оказался и дом Тулинского. Родители построили его, когда Юрий Глебович родился, то есть дом и хозяин были ровесниками. Дом огруз, хозяин одрях. Так показалось Родюшину вначале, когда прошёл он по скрипучим полам и увидел сидящего в инвалидной каталке человека. Он даже укоризненно покосился на Лунькова, дескать, что же ты, братец, устроил-то. Но...

В комнату — по-деревенски, переднюю — вошла-впорхнула средних лет женщина, которую Родюшин по первому взгляду принял за дочь Тулинского, а это оказалась его жена. И сразу всё преобразилось. Словно это помещение было некой застывшей музыкальной шкатулкой, у которой кончился завод, но вдруг явилась фея, завела заветную пружинку, и сразу всё чудесным образом оживилось. Забили старинные, видать, швейцарские, напольные часы. Кажется, сам собой заиграл рояль. Запела канарейка, отозвался волнистый попугайчик. Следом затрепетали занавески и шторы...

И тут у Родюшина помимо воли вырвались слова:

— Вот тебе и театр. Занавес, потом первая кулиса, потом вторая и дальше пустое пространство. Декораций никаких. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдёт луна.

Это были слова Треплева из “Чайки”.

— Великолепно! — воскликнул Юрий Глебович.

Старый актёр с ходу подхватил диалог, отозвавшись репликой Сорина. Он улыбался, глаза его лучились и были обращены на жену, словно она и была той картиной, нарисованной драматургом.

Родюшина подхватила сценическая волна:

— Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадёт весь эффект. Пора бы уж ей быть. Отец и мачеха стерегут её, и вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы.

Тут Родюшин подошёл к креслу и коснулся седой головы Юрия Глебовича. Мог ли он такое представить себе ещё десять минут назад! Но теперь, когда явилась сцена, это было естественно и органично.

— Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли...

И как натурально отозвался Тулинский на эти жесты и реплики. Расчёсывая незримую бороду, он кротко вздохнул:

— Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и всё. Меня никогда не любили женщины...

В дверях передней стоял высокий бледный юноша. Это был пятнадцатилетний сын Тулинских, плод их поздней любви. Лицо его выражало недоумение и даже гнев. Дескать, что же ты такое несёшь, папа! И только сообразив, что тут разыгрывается сцена из спектакля, вспыхнул, покраснел и в смятении кинулся к отцу, обнимая его и пряча в его седины своё юное лицо.

До чего это была душевная сцена — кто бы видел! У Родюшина при воспоминании её подкатил к горлу ком, а глаза завлажнели.

Луньков, понятно, заметил это и, хоть догадывался, почему именно так Родюшин повернул разговор, от своего не отступил.

— Роль Аркадиной — Сусина роль. По её размеру... Сусаннинному.

Родюшин не ответил. Но внутренне усмехнулся. “Роль по размеру”. Это что — перчатка, которая как раз по руке? И уже велух, но словно “реплику в сторону”, обронил:

— “Я на левую руку надела перчатку с правой руки”.

Нет, заключил про себя Родюшин, с переменной ролей он поступил правильно.

5

Зарождающиеся мысли Родюшин привык “выхаживать”. Он с трудом удерживался на месте во время читки. Почти совсем не сидел на репетициях, то и дело вскакивая из-за режиссёрского столика, и ходил взад-вперёд по проходу либо метался туда-сюда перед сценой. И даже в театральном номере, своей тесной “берлоге”, он умудрялся устроить “беговую дорожку”. Треть помещения занимали кровать и — впритык к ней — письменный стол возле окна. Остальное место принадлежало журнальному столику с двумя креслами. Вот вокруг этого “острова Буяна” Родюшин и кружил: пять шагов вдоль, три поперёк, снова пять вдоль и три поперёк.

Что сегодня привело Родюшина к коловращению? Перелистывая чеховские страницы, он в одном письме наткнулся на такую фразу: “Когда на какое-нибудь определённое действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация”. “Грация”, — покатал на языке. Это же врождённое качество Нины Заречной. Вначале она ещё не актриса, но грация в ней есть. Она, эта юная грация, покоряет Треплева, она увлекает Тригорина, пусть и на время, — в силу того, что он уже искушён и устал от жизни.

Грация. Ему представилась Даша. Её рука с чайной чашечкой в солнечном луче, будто раскрытая чайная роза; точные, оттого изящные движения,

затаённая загадочность. Вот! Вот то, что надо. И словно эхом — то, что надо.

Это ощущение или предчувствие давно бродило в его сердце, можно сказать — первоначально знакомства, но впервые столь остро оно коснулось сознания. Номер мобильного можно взять у Ларисы. Зайти в литчасть, вернуть том Чехова, а потом и телефон попросить. Десятка, есть интервью с Питером Устиновым, где речь об Антоне Павловиче. Журнал британский. Даша — переводчица, преподаватель английского. Ей и карты в руки, то бишь перевод... Убедительно? Вполне. И с этим намерением, уже не мешкая, Родюшин отправился проторённым путём — проторённым собственным челом, усмехнулся он, — на другую половину театра.

В литчасти, кроме Ларисы, никого не было. Так Родюшин подумал вначале и, входя, громко поздоровался. Но её скошенный влево взгляд остерёг его. Он молча прошёл к столу и в проходе меж стеллажами, где стояло кресло, увидел молодого человека. Тот сидел развалился и, казалось, спал, но глаза его были приоткрыты. В руке, безвольно свисавшей, дымилась сигарета, пепел падал на палас, рядом валялась небольшая плоская баночка. Родюшин мельком глянул в его мутноватые глаза и перевёл взгляд ему под ноги. Нормальному человеку вполне достаточно, чтобы заозираться в поисках пепельницы или на худой конец подставить под пепел ладонь. Этот — нет, этот даже не пошевелился, пребывая в одном ему ведомых эмпиреях. Левая щека Родюшина непроизвольно дёрнулась. Он подошёл к столу и демонстративно отвернулся от сидельца. Лариса была сама не своя, даже с лица, кажется, спала, словно вмиг потеряла свою формирующуюся дородность. Она смотрела на Родюшина виновато, а в глазах её, карих и глубоких, сквозила затаённая боль. Он не стал ни о чём расспрашивать, ничего объяснять, положил книгу на стол и прямо попросил номер телефона, назвав имя. Тут Лариса и вовсе удивила: она метнула настороженный взгляд и приложила палец к губам. Всё это озадачило Родюшина, однако не настолько, чтобы пуститься в расспросы. Взяв листок с написанным номером, он коротко кивнул, не попытавшись при этом хотя бы улыбнуться, и вышел.

* * *

Был понедельник — у актёров выходной. Дашу он встретил на служебном входе. Вахтёры её знали и пропустили бы без него. Но он намеренно это сделал, чтобы избежать ненужных домыслов, и попросил ключ от репетиционной. Мысль пригласить её в свою “берлогу” он отверг с самого начала, дабы не вносить лишних сложностей.

В репетиционной было свежо — отопление ещё не включали. Он пожалел, что нет солнышка, в луче которого так трепетно выглядела тогда Даша. Но подумал, что и это знак, ведь именно без солнца, в сумраке должно происходить действие. Держалась Даша независимо и чуть настороженно. Пальто сняла сама, жестом отведя его услуги. А шапочку ажурную не сняла, укрыв от его глаз свои озорные — как тогда увиделось — кудряшки, оттого выглядела сейчас по-другому — деловитее и отчуждённее. Он и это воспринял как знак. И даже глаза свои зелёные она умудрилась как-то пригасить, не распахивая их, а словно прикрывая.

Родюшин попросил её прочитать текст — пьесу Треллева, то есть монолог Заречной.

— Мне надо уточнить тональность, провести сравнительный анализ. Я пробую разные женские голоса, чтобы найти золотую середину.

Он говорил несколько туманно, сам сознавая это, но поправлять себя, уточнять что-то не стал. Зато набросал некую экспозицию — это он сам так назвал.

— Треллев сочинил пьесу о том, что будет через двести тысяч лет. Уму это непостижимо. Но сердцу — возможно. Перед нами пространство. Бога в нём нет. Восходит луна. Солнца тоже нет. Оно погасло вслед за Богом. Бог оставил землю, и солнце погасло. Лишь привидения — тени героев и мерзавцев — блуждают над землёй. Тени героев — в мировой душе, которую

представляет актриса, а тени отребья — в болотных гнилушках. Над всем этим царит дьявол. Он беспрестанно создаёт хаос, в котором нет места разуму и подлинному чувству — одни животные инстинкты. Таков удел человечества, которое, похоже, стремительно к этому катится.

Даша, конечно, была удивлена. И его предложению, и его монологу, однако выразила это только взглядом, на миг вскинув ресницы. Она отозвалась, взяла в руки листы и стала читать. Сначала медленно, размеренно, пошкольному, тщательно выговаривая каждое слово, и чуть отстранённо, как читают, скажем, сводку погоды: “Люди, львы, орлы и куропатки...” Но лексика, образы и картины постепенно увлекли её, голос стал обретать окраску, в нём появились взлёты и снижения, как прилив и отлив, которыми ворожит-колдует та самая луна. И жесты появились, и мимика, и рука плавно следовала за фразой, точно чайка над гладью озера. И трепетали пальцы, которые так очаровали с первого раза, но теперь жили иначе, словно перебирали утраченные солнечные струны, словно звали и молили, дабы Господь смилостивился, вернулся и вновь обогрел Своей любовью несчастную землю.

Родюшин не ошибся — профессиональное чутьё его не подвело. Но сейчас он сознавал, что оценивает происходящее не только как знающий толк в искусстве режиссёра. Перед ним сидела молодая женщина. Ещё недавно настороженная, отчуждённая, она, неожиданно даже для самой себя, на глазах преобразилась, по воле слова открывая ему потаённую суть, не мировую — абстрактную, а собственную свою душу. В этих словах таилась какая-то загадка. И не столько смысл, сколько сочетание этих гласных и согласных, зарождавшихся сейчас и здесь в её трепетном горле, создавали осязаемую энергию и — не то вопреки смыслу пьесы, не то благодаря ему — источали тепло. Родюшину явственно представилась сцена чаепития. Солнце в чайной чашечке, её рука и словно сами по себе живущие пальцы. Вот они, указательный и средний, тянутся к продолговатой тартинке, или таргалетке, как они там называются, проникают внутрь мягкой обёртки, осторожно раздвигают перламутровые лепестки и отворяют...

Его обдало жаром. В этот момент Даша закончила чтение и слегка подняла голову. Её губы ещё трепетали. Так бабочка-пестрянка, поводя крыльцами, ищет, куда бы ещё направить свой полёт. А взгляд замер, кажется, не в силах преодолеть невидимую преграду.

Такое бывает. Внезапное наваждение охватывает тебя и, помимо воли, погружает в долгое оцепенение, которое не хочется прерывать, а хочется длить и длить, не считаясь ни со временем, ни с обстоятельствами. Даша глядела перед собой поверх листов, не поднимая головы. А Родюшин во все глаза глядел на Дашу, любуясь её чертами. Эта смуглая кожа, под которой тихо остывает румянец, ресницы, прикрывающие глаза, эта правильная линия носа, чётко очерченные и такие трепетные губы...

Пауза затягивалась. Нарушать её Родюшину не хотелось. Но пришлось. Ведь слово-то было за ним.

— Спасибо, Даша! — сказал он. — Хорошо. Читали вы замечательно.

Она, наконец, подняла глаза. В них ещё, похоже, мерцали отсветы той, возможно, грядущей трагедии, что разворачивалась в пьесе, но было ещё что-то! Прислушивается к себе? Оценивает его слова? Сомневается?

— Правда-правда, — добавил Родюшин. Как убедить её? А что если обернуть шуткой? — И почему это современные барышни не сидят на скамеечках в парках и на бульварах и не читают вслух классические романы?! Ведь все женихи слетались бы, как воробьи, на погляденье. Вы посоветуйте это своей подруге, Дюймовочке.

— Ире? — откликнулась Даша. — Неужели она звонила? — Смахнула с головы шапочку и встряхнула волосами.

— Да, пару раз. Слегка кокетничала.

— Ой, Иринка. — Даша снова тряхнула головой, распушив кудряшки и становясь сама собой. — Вы не подумайте... Она хорошая. Правда, правда... Она всё отдаст, когда надо. Она ведь в лавку эту оружейную пошла, спасая родственника. Вытянула, несмотря на конкуренцию. Годами себе гроши начисляла, чтобы чужие долги оплатить.

Складочка на её переносице была искренняя. Ни капли кокетства, всё естественное и непосредственное. Редкая органика, как в таких случаях говорят в артистических кругах.

— Даша, — как можно убедительнее сказал Родюшин, — у вас актёрский дар. Поверьте! Природный. Предлагаю вам роль Нины Заречной.

Он смотрел на неё выжидающе. Что она скажет? А на её лице ничего не изменилось. Не было ни радости, ни удивления, ни растерянности. Ничего. Только тихая, грустная улыбка.

— Что в таких случаях надо говорить? Спасибо за доверие? Спасибо, Денис Геннадьевич!

— Просто Денис...

— Спасибо, Денис, но...

— А может, это ваша судьба, Даша?! — он сделал ударение на последних словах.

— Судьба, — усмехнулась она. — А что такое судьба? Вот мы, например, трое подружек, должны были после университета идти примерно по одному пути. А в действительности? Иру что определило в её оружейную лавку — судьба или случай? Я бы ни за что не взялась за это дело. И Лариса — тоже. А Ира тянет... На моём месте они тоже не могли бы оказаться, я ведь параллельно ещё иняз окончила. Но в принципе преподавать могли, нас ведь на педагогов и учили. Зато на месте Ларки не могли оказаться ни я, ни Ира.

— Почему?

— Потому что у нас другие мамы.

— А у Ларисы чем особенная?

— Тем, что она заслуженная артистка и почти звезда сериалов.

— Луканина? Мать Лары — Серафима Андреевна? Вот как! А я и не знал!

— А вы ещё многого не знаете, уважаемый режиссёр, — в голосе Дашы появилась ирония.

— Так просветите, — он хотел взять её за руку, но она убрала. — Вы с Ирой не замужем. А у Ларисы семья, правильно?

— Ребёнок есть, дочка. Но она не замужем.

— А кого же я на днях видал у неё? Развалился в кресле и курил?

— А, — Даша как-то сразу погасла. — Это братец её. — В голосе слышались брезгливые нотки, и после этого она сразу засобиралась.

6

Репетиции шли уже на сцене, и тут особенно было важно, чтобы все актёры были в сборе, а главное — вовремя. На очередную “слётку” Стромиллова опоздала. Не то чтобы namного — на полчаса. Но замечание сделать было необходимо, что Родюшин и сделал. Причём мягко, даже деликатно. Он строго посмотрел на Сусанну Львовну, потом на наручные часы и снова — на неё. Только и всего. А Стромиллова? А она взвилась, как фурия. Её реакция, как сказал бы невропатолог, а может, и психиатр, была явно неадекватной. Если, разумеется, она, эта реакция, была заранее не срепетирована и не срежиссирована — этакий театр в театре, чудеса в решете или в табакерке, — потому что выпилась в полновесный монолог:

— Мы тут — не в столицах. Ни в белокаменных, ни в закованных в гранит. Тут бонн, гувернёров нет, — последнее явно предназначалось персонально ему и следовало принимать на свой счёт. — Мы в хрущобах обитаем. То воды нет, то света, то газа. А из всего общественного транспорта — задрипанный “пазик”. Вот и крутись. И хоть вовсе не ложись, чтобы на репетицию не опоздать.

— Вы закончили? — уловив паузу, тихо спросил Родюшин и уже громче добавил: — Тогда приступаем.

Несмотря на такое вздорное начало, свою роль Сусанна Львовна Стромиллова провела на удивление хорошо. Родюшин даже похвалил её, оценив интонацию, когда Полина Андреевна просит Дорна надеть шляпу. Интонация была тёплая, скорее материнская, словно обращённая к собственному чаду.

Треплев вспыллил следом за репликой своей матери — Аркадиной, но прелюдия-то его гнева — эта материнская нежность, которой он обделён. Вот в чём дело.

“Удивительное существо — эта Стромилова, — размышлял Родюшин после репетиции. — У неё две маски — комиссарши и душечки, и для жизни ей, видимо, вполне хватает этого реквизита. На сцене — сто личин, а в жизни только две. При этом не скажешь, что она — двулична...”

— Учите роли, — сказал он напоследок. — Отчего провалилась премьера “Чайки” в МХТ, и бедный Антон Павлович со стыда сгорел? Оттого, что актёры не знали текста. Даже Комиссаржевская.

При этом по логике вещей надо было глянуть на Горникову, которая вслед великой актрисе репетирует роль Заречной, но он посмотрел на Луканину. Почему? Скорее всего, потому, что в её взгляде застыл какой-то вопрос. Как возник с начала репетиции, так, кажется, и не исчез. Он было подумал, что это недоумение. Ей, Луканиной, он, режиссёр, сделал выговор всего за пять минут опоздания, а Стромиловой за её полчаса даже слова не сказал. Но теперь, когда все разошлись, призадумался.

Отпустив актёров, Родюшин устало сел в кресло. Спина болела, он свёл лопатки, снова развёл, прогнулся несколько раз, вытянул ноги. Нет, тут дело не в Стромиловой, не в обиде Луканиной. Тут что-то другое.

Репетировать в тот день он собирался четвёртый, заключительный акт. Без Стромиловой — Полины Андреевны — начинать было никак нельзя. Но и время терять не хотелось. Он потоптался возле режиссёрского столика, походил по театральному проходу, встал перед сценой, на которой располагались ожидавшие работы актёры, и заговорил. Говорил, как думал, не лукавя, не скрывая горечи и озабоченности. До конца неясна сценография, нет многих мизансцен, всё ещё не найден убедительный ракурс, что на военном языке называется углом атаки. И вот тут ему припомнилось старое полотно — картина Александра Иванова “Явление Христа народу”.

— Художник писал эту работу больше двадцати лет. Сделал сотни этюдов. Типы людей, изображённых на полотне, искал повсюду и передал их с живописной точностью. Но есть ли на полотне Христос? Есть знак — маленькая фигурка на заднем плане, есть название картины, но Бога, по-моему, там нет. Это ведь не каждому дано — узреть Господа. Иной на икону смотрит, даже намоленную, а ничего не чувствует. Отчего? Сердце не раскрыто. Возможно, гордыня затворила его. Благодать и не сходит. Нет места ей в сердце.

Вот в этот момент он, кажется, и увидел взгляд Луканиной — напряжённый, острый, вопрошающий.

— Так и в искусстве, в передаче Божественного огня. Не нашёл художник нужного ракурса, не постиг Бога, вот и не случилось чуда. Что мы видим на том полотне? Спины, блестящие от воды, лица, по большей части профили. А глаз почти нет. Нужны глаза, чтобы в них отражался Христос. Но как этого добиться? Может быть, всех этих людей, стоящих на берегу, надо развернуть на сто восемьдесят градусов, то есть зеркально. Вот тогда и явятся их глаза, а в них — Христос, идущий по водам. По водам, аки по суху. Самого Его нет, потому что Он повсюду. Есть только золотая дорожка, как от солнца, по которой Он приближается.

* * *

Церковь стояла напротив театра. “Храм искусства” и просто храм, то есть искусственный храм и храм Божий. Из одного Родюшин плавно перешёл в другой, и здесь ему было теплее.

Завершающая служба, как всегда, началась с чтения вечернего псалма: “Солнце позна запад свой. Положил еси тьму и бысть ночь...” Так уже сотни лет христиане прославляют начало Творения, когда Господь премудростью Своей сотворил землю, наполнив её различными тварями — творениями Своими.

Родюшин поставил две свечи — на помин рабы Божьей Марии и во здравие — себе и смиренно замер с краю небольшой горстки прихожан. Его душа благодатно наполнялась теплом и тихим, лучистым светом. В храме иной раз он так отрешался, весь отдаваясь на волю Божию, что, когда заканчивалась служба, не сразу приходил в себя. На сей раз мирское, пережитое за день довлело, и, чтобы отрешиться, он обратился слухом к хору. Певчие вступили без видимой подготовки, но ладно. Профессиональный слух, наверное, выделил бы отдельные голоса, но для него они сливались воедино. Был ли тут ансамбль? Разумеется. Ведь храм Божий держится близкими по духу людьми и церковным каноном. А в храме мирском, где он провёл день, все — наособицу, все норовят про своё сказать и себя прежде показать, не заботясь об ансамбле, о гармонии. И создать это — задача его, режиссёра Родюшина.

Служба шла заповеданным чередом. Творились молитвы, читались псалмы, следовали правила. Голоса священников — людей в годах — почти не отличались один от другого. А голос псаломщика, молодой и ещё не устоявшийся в службе, чем-то привлёк. Родюшин прислушался. Вместо “помилуй” звучало “омилуй”. Волнуется, весь сосредоточившись на счёте, для чего тайком загибает пальцы? Или это особенность речи? В армии, приветствуя старшего, сокращают слоги: “здра... жела...” А здесь — “омилуй”. В армейском усечении суть остаётся, а тут возникает что-то новое. Нет, наоборот — что-то будто более древнее, ещё до преданий и молитв, до появления старославянского языка.

Вот с этим “омилуй” Родюшин и вышел со службы. И всю дорогу катал на языке подобия: омой, окорми, овей, оборони, оголубь, обогрей, одушеви, ободри, обойми...

К себе в “берлогу” Родюшин пробирался задворками, потому что шёл вечерний спектакль, а ему ни с кем не хотелось встречаться, даже с билетёршами. Мимо директорского кабинета он крался едва не на цыпочках — цепenea от ужаса, как он шутил про себя и велух, подыгрывая самолюбию “господина импресарио”. Но тут случилось непредвиденное. Как раз в эту самую минуту из кабинета директора выскочила Оля Горникова.

В текущем спектакле она была занята, судя по белому фартучку и наколке, в эпизодической роли официантки. О чём шёл у неё разговор с директором, можно было догадаться. Скорее всего о том, что её, выпускницу театрального училища, никак не устраивают такие — “кушать подано” — роли. И то, что Оля недоизлила на директора, в прямом и в переносном смысле обрушилось на Родюшина. Растрёпанная, зарёванная, она налетела на Родюшина и только что кулаками ему в грудь не застучала.

— Что вы все знаете обо мне? Что вы все знаете?! — Из груди её рвались рыдания, по лицу текла тушь.

Сцена была нелепая, прямо-таки театральная. Но что тут можно было сделать? Цыкнуть? Или наоборот — пожалеть? Или взять за плечи, встряхнуть и обтять, как формируют расплывающееся тесто?

Родюшин взял Ольгу под локоть и молча повёл в фойе, где стояли банкетки. Усадил на ближнюю, сел рядом и — надо же такому случиться! — попал под перекрёстный огонь примадонн. Со стены, где были развешены портреты артистов, на него взирали Стромиллова и Луканина. Одна — сурово и мужественно, словно комиссарша из “Оптимистической трагедии”, только что вышедшая из боя, отчего взгляд её напоминал зрачки маузера и нагана; другая пронизывала ехидным взглядом и всё понимающей усмешкой. Стромиллову он ещё бы стерпел, как стерпел её “бонн да гувернёров”, но затаённого сарказма Луканиной вынести не смог. Куда пойти? В гримёрку, в буфет, в репетиционную? Везде там или по пути можно наткнуться на посторонние взгляды. А зачем это? Делать нечего, повёл к себе, хотя и не хотелось: лишние разговоры, домыслы, сплетни — что тут хорошего?! Да и Оля эта настораживала своим состоянием — неизвестно, какой фортель может выкинуть. Но главное — Даша. В репетиционной, как чудилось ему, всё ещё сохранялся аромат её волос, этих вольных кудряшек, и так не хотелось, чтобы он исчезал.

Оля в “берлогу” зашла покорно, по-прежнему всхлипывая, утирая ладную глаза, и всё твердила, как заклинание, только уже шёпотом: “Что вы все про меня знаете?..”

— Ну, так расскажи. — Родюшин посадил её в креслице, налил в стакан воды и вытер со щёк тушь. — У тебя всё там? — он имел в виду сцену, сам не заметив, как перешёл на “ты”.

Она кивнула — в жестах ещё недоверчивость, — но уже благодарно, с тихой надеждой посмотрела на него снизу вверх. А взгляд-то глубокий, отметил Родюшин, даром что глаза воспалены. Никакого лукавства, спеси, тем паче надменности и вздорности. И вовсе не Мальвина — с чего ты, братец, взял?!

— Живёшь далеко. — Она кивнула. — Дальше Стримиловой. — Снова кивнула. — Но не опаздываешь, — он так поощрил её. Она улыбнулась, но через силу.

— Окраина самая, — вздохнула тихо. — Далеко. Ехать долго. На двух автобусах. Просила у директора общежитие, да не даёт — нету. А сам, говорят, чеченцев селит. — Она отпила воды, губы мелко-мелко задрожали. — Сюда-то ладно... А вот возвращаться... Бандиты там...

— И некому встретить!

— Раньше Владик встречал, братец. Теперь он в армии — некому.

— А отец — мать?

— Папка пьёт. Как сократили, так запил и не просыхает. Ругает власть, а больше нам с мамой достаётся. Она такая у меня была, а сейчас что ве-хоть выжатая. Так о себе говорит. Боюсь за неё и за папку боюсь. И за братика. — Она вскинулась:

— Девчонка у него была. В армию провожала, клялась ждать, а тут муж заходила. Жених, говорят, богатый подвернулся. Владик узнал — сам не свой. Такие отчаянные письма пишет. Я маме не показываю — и так за сердце хватается. А Владик — беда. Приеду, пишет, всех порешу. Сколько сейчас таких! Автомат схватил и очертя голову домой! Не дай бог! Пишу, уговариваю, успокаиваю. Может, думаю, командиру написать, чтоб приглядывали. А вдруг хуже будет? Озлится на весь белый свет — что тогда?.. Боюсь даже и думать.

Оля говорила взахлёб, опять давясь слезами, которые едва сдерживала. Отчаянно тряхнула головой, сронив эту нелепую здесь наколку и скомкав свой сценический передник.

— Я же как думала, когда в театральное пошла... Буду играть, зарабатывать. Вырвусь оттуда, с окраины этой, и их вырву, моих родных. Чего бы мне это ни стоило. А вот, выходит, мой удел — “Чего изволите?” да “Кухать подано”, — и она брезгливо отшвырнула передник. Передник упал на пол, как та самая убитая Треплевым чайка. Родюшин отметил это вскользь, а сказал так:

— Ну что ты, Оля! Тебя воспринимают, — он не нашёл другого слова, зато нашёл довесок: — Портнов хвалил.

Ольга взглянула недоверчиво.

— Мне кажется, он ругал меня.

— Да нет, уверяю. Третьего дня с ним беседовали. Будет, говорит, толк из этой девочки. Так и сказал.

— А вы?

— А что я? — не понял Родюшин.

— Вы же ищите другую на роль.

— Кто тебе сказал?

— Говорят, — уклончиво отозвалась она.

Пускаться в объяснения Родюшин не стал — это могло завести неведомо куда.

— Мы с тобой репетируем? Репетируем. Продвижения есть? Есть. Так какого лешего?

Родюшин намеренно подпустил грубости, полагая, что в такой ситуации это уместно. И попал в точку. Ольга тихо вздохнула, словно ребёнок, который одолевает последний всхлип, и уже смелее улыбнулась.

— Ну вот, — ответно улыбнулся Родюшин. — Так-то лучше. Не надо распускаться, Оля. Надо держать себя в руках. Я понимаю, если бы крах... А то ведь так — текущий кризис. — Он сам удивился этой формулировке, но поправляться и уточнять не стал, а перевёл на домашних: — Ты папку любишь?

— Папка мой хороший, — в голосе её возникли мягкие нотки. — Слабый только. Работы лишился — как неприкаянный стал. Однажды нашёл место и работал. Да там обманули, да ещё избил. — Губы у неё задрожали.

— Ну-ну, — остановил её Родюшин — не хватало только по новому кругу! — А коли любишь, так подойди, да обними, да сделай для него что-нибудь, рубаху хоть погладь, да возьми за руку да скажи, что боюсь вечером одна, встречай, а то без тебя пропаду. Ну, какой отец после этого не отзовётся?! Даже последний забуддыга. А твой-то ещё боец, небось пятидесяти нет.

Оля кивнула.

— И маму чем-нибудь порадуй, в парикмахерскую сведи или сама причеши-постриги... А брату позвони, да скажи, что девицы одна за одной о нём справляются, отвлеку от дурных мыслей, а то все вместе позвоните. А потом всей семьёй — на премьеру. Ты — на сцене, а мама с папой — в зале. Или лучше на второй-третий спектакль. Когда уже дыхание появится, сбой пройдут.

Родюшин перевёл дух, зачесал обеими пятернями волосы. Завершить разговор надо было чем-то традиционным, то есть добавить про репетиции, про работу, чтобы девочка мобилизовалась. У него на языке уже вертелась подходящая концовка. Связать сцену чтения пьесы Треллева с её, Олиным, возвращением на свою окраину. “Ты представь, что возвращаешься домой. Идёшь по глухому, тёмному пустырю. Сиротливо, одиноко. Только дьявол на тебя целит красные зрачки...” Слава богу, хватило ума воздержаться. А то ведь напугал бы девчонку, да и порушил то, что чуть слепилось да сшилось на живую нитку.

7

По утрам — в начале и в конце недели — Родюшин приноровился ходить в баню. Оно, конечно, было не совсем удобно — поджигало время репетиции. К тому же пар в коммунальной бане настояться не успевал. Зато в ранние часы здесь было тихо, народ приходил не праздный, в меру озабоченный. Не то что под вечер, когда сюда слетались всякие бражники, говоруны, ночные гулеваны, у которых как раз начинался “трудовой день”. Завалятся, телик — на полную громкость, голоса — поперёк, пиво — пятилитровыми “бомбами”, вобла — связками, вонь от неё достигает даже мыльной и парилки. Ну, какое тут омовение, какое отдохновение?! По первому разу Родюшин попал в баню именно в такую пору — затащил Луньков, любитель не столько пара, сколько пивных посиделок. Но в дальнейшем он отправлялся в баню только с утра.

Так было и на сей раз. После двух заходов в парную Родюшин сделал продолжительную передышку. Он сидел за одним из двух столиков, расположенных против череды кабинок, и попивал квас. Длинные волосы его были забраны под шерстяную, серого цвета шапочку. Он в ней парился, но не снимал её и в предбаннике. Это был его секрет. Где-то он прочитал, что одна старая писательница обматывала голову чулками, чем слегка шокировала гостей, но при этом ничуть не смущалась, объясняя, что в тёплой голове, как в кашеварке, начинают бурлить мысли. Смех смехом, а Родюшин верил этому, и больше того — сам испытал. Вот и сегодня его озарило. Да ещё как! Пробежав взглядом по чередке кабинок с задёрнутыми занавесками, Родюшин вдруг отчётливо увидел решение сцены. Вот уж поистине: “Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда!..” Фасад усадьбы, барского дома и театр-балаган надо выстроить в одну линию, подчеркнув тем самым их тождество. И далее объединить их одним, общим занавесом, который до финала будет сдвинут в место стыка двух сооружений.

Эта идея захватила Родюшина. Она не давала ему покоя всю репетицию, и он с трудом удержался, чтобы не вызвать на сцену художника-постановщика.

Останавливало его лишь то, что тут, на сцене, могла возникнуть непредвиденная ситуация — он предполагал, как будет реагировать художник.

Павел Гурьевич Ломанцев в молодости блеснул сценографией “Гамлета”, сумев создать атмосферу королевства Датского декором из цепей. Из гирлянд и связок цепей был шит даже занавес. Сорок лет назад это казалось смело и оригинально! Но с тех пор ничего похожего, то есть оригинального, он не рождал. То ли давний успех вскружил голову, то ли он был “автором одной песни”, но в дальнейшем Павел Гурьевич только компилировал, создавая из двух-трёх заёмных элементов нечто среднее. Вот на этом среднем уровне он и держался. Однако достоинство своё держал гораздо выше означенного уровня. А к окружающим и коллегам был строг, ироничен и изрекал истины, которые не подлежали не то что обсуждению, но даже сомнению.

Если бы Родюшин выложил свою идею при актёрах, при всех занятых в спектакле, Павел Гурьевич, скорее всего, принял бы её в штыки. Кто смеет совать нос в его вотчину! Он нашёл бы десяток контраргументов и, даже если удалось бы его уломать, провольнил бы задание и сделал бы всё не так. Это Родюшин понял ещё при знакомстве, когда почувствовал холодность и вялость протянутой ему руки и увидел тяжёлую нижнюю челюсть, которая с годами набрякла непропорциональным самодовольством.

Потому Родюшин поступил как дипломат. Он удержался от соблазна тотчас вызвать художника на сцену, а сам пошёл в мастерскую Ломанцева, перед этим хорошенько размяв лицевые мышцы. Как иначе было добиться намеченного?! Улыбаясь, причмокивая губами, охая и ахая, Родюшин долго восхищался какими-то пейзажными этюдиками, карандашными почеркушками, представленными на паспарту, портретными зарисовками. Потом хвалил предложенный чай и тут почти не лукавил. И даже казённые сушки оценил по достоинству, словно они тоже были произведением искусства, вышедшими из-под руки мастера. И только после этого стал подводить разговор к постановке, к декорациям, к оформлению. Издалека, медленно, но упорно он гнул своё и просто-таки внушил Ломанцеву, что именно ему, художнику, явилась эта идея, и тот, выпячивая надменно губу, наконец изрёк:

— В сущности, решение декорации — две рамы. Одна пятиугольная, большая — это дом, усадьба. Другая прямоугольная, маленькая — это балаганчик. И соединяет их единый занавес. Всё остальное — декор, детали.

Родюшин облегчённо вздохнул. Победа! Теперь предстояло определить материал занавеса декорации, а главное — его добыть. Рассчитывать, что этим займётся художник, было наивно. Путём тех же наводок-уступок Родюшин подвёл Ломанцева к мысли, что лучшим материалом для задуманного будет парусина — ткань плотная, которая хорошо держит форму. Парусины понадобится много, следовательно, надо идти к директору. Тут уж впрягусь я, заключил Родюшин, тем самым окончательно и целиком передав лавры автора Ломанцеву. Какая разница, что в промежутке; главное — в конце, незаметно усмехнулся Родюшин и со словами, что он идёт бить челом к “маэстро импресарио”, взялся за дверную ручку. Нет, не так — Родюшин ещё раз остановился возле стены, где были выставлены на обозрение работы. Ведь один этюд его и впрямь покорила.

Это была рука. Пясть человеческая, выполненная грифелем, со всеми сухожилиями, вздутыми венами и рельефными суставами, застывшая в некоем незавершённом действии. То ли через миг вспучится кулак, то ли пальцы сомкнутся в трюперстие. Это было настолько близко, что Родюшин ещё раз вернулся к карандашному этюду, пытаясь разгадать итог. Этим он окончательно покорила художника, и тот сам, не ожидая пожеланий, обещал уже днями сделать макет.

* * *

Директор был занят. Секретарша, Марина Юрьевна, молодая неопределённого возраста особа, почти извиняясь, сообщила, что пускать никого не велено. Родюшин досадливо поморщился и хлопнул тыльной стороной руки

о ладонь. Марина Юрьевна, явно симпатизировавшая ему, восприняла этот жест не иначе как сигнал к инициативе. Она тотчас включила селектор и доложила, что в приёмной находится режиссёр Денис Геннадьевич, у которого весьма срочное дело. “Срочное, срочное”, — донеслось из недр директорского кабинета, прошаркали колёсики кресла, а потом послышалось утвердительное бурчание. Марина Юрьевна победно улыбнулась, сразу помолодев на десять лет, и, как регулировщица перед Бранденбургскими воротами, дала отмашку.

Директор стоял за столом. То ли второпях он забыл зачихать ноги в специальные служебные башмаки на толстенных каблуках, то ли встал мимо специальной подставки, только казалось, что он сидит, потому что столешница почти упиралась ему в грудь. Волосы директора, собранные со всей головной периферии, были растрёпаны и открывали потаённую лысину. Вся фигурка его была напряжена, рыхлое лицо полыхало пятнами, ноздри раздувались. Крепко, видать, досадил ему собеседник, который обосновался за приставным совещательным столом.

Это был плотно сбитый средних лет мужчина, облачённый в дорогой серый костюм и благоухавший тонким парфюмом, аромат которого тихой сапой заполнял пространство. Он сидел прямо, не поворачивая головы, и лишь поводил глазами, точно кот на часах-ходиках — тик-так, туда-сюда. Вот только глаза у этого кота были рысы. Да и повадки — тоже. На приветствие Родюшина он даже не кивнул, а лишь прикрыл глаза, словно экономил какую-то драгоценную внутреннюю энергию, необходимую для будущего прыжка.

Родюшин сделал несколько шагов и остановился посередине кабинета. В жизни он не выстраивал мизансцен — всё получалось само собой. Так и здесь. Незнакомца практичнее держать в поле зрения. А “господина импресарио” лучше не раздражать своим ростом, поскольку тот, бедолага, и так уже не в себе.

— Леон Маркович, — мягко, но убедительно сказал Родюшин. — Найдено сценическое решение. Мы обсудили его с художником-постановщиком. Для воплощения задуманного требуется парусина. И довольно много. Ширина три метра, длина пятнадцать метров.

— С Ломанцевым обсуждали? — машинально переспросил директор и почти по-бабьи запричитал: — Это ж с ума сойти сколько материала! — Захлопал себя по бокам, точнее по карманам. — Это ж “Варяг” можно оснастить!

— “Крузенштерн”, — поправил его Родюшин. — Вы хотели сказать — “Крузенштерн”.

Директор тоскливо закивал.

— Нет, поменее будет, — спокойно продолжил Родюшин. — Четверть фок-мачты — не более.

— Четверть, — повторил плаксиво директор. — А расходы? — При этом глянул на того самого лощёного мэна, словно ища у него сочувствия, но тот даже глазом не повёл, внимательно рассматривая свои холёные ногти. — Бьёшься, бьёшься как рыба об лёд, а всё коту на смех!

В другой раз Родюшин наверняка отозвался бы на очередной шедевр красноречия “господина импресарио” — это надо же какой талант пропадает! — но тут даже и мысленно не хмыкнул. Почему? Да потому, что перед ним стояла ещё одна задача, и тут важно было не переиграть, не перегнуть, не ошибиться ни в тональности, ни в жесте.

Родюшин сделал шаг назад, одновременно повернувшись влоборота. Тем самым он показал, что всё изложил, что более ничего добавлять не собирается, что директору — кровь из носу, как он сказал о премьере, — придётся добыть необходимую парусину. Но в последний момент перед поворотом замер, вернулся в прежнее положение и так это между прочим добавил, что тут появлялся какой-то человек — в штатском, но по виду службист — и всё осведомлялся насчёт театрального общежития.

Пятна на лице “господина импресарио”, слегка угасшие, как уголья под рыхлым пеплом, вспыхнули с новой силой.

— Вот! — Он почему-то метнул взгляд в сторону холёного мэна. — Я говорил!

Тот осёк его встречным взглядом. Директор умолк, засучил ножками, видимо ища обувку, закивал Родюшину, мол, хорошо-хорошо, — будет тебе и дудка, будет и свисток — и, выходя из-за стола, но не приближаясь, стал всем своим видом — жестами и мимикой выпроваживать режиссёра.

То, что разыграл Родюшин, в карточной игре называется блеф. Никакого ревизорствующего службиста он не видел. Таковые, похоже, перевелись на Руси. И ежели по служебной надобе и поручению где и появляются, то результат их деятельности обыкновенно равен нулю, ибо рука руку моет. Подлинные ревнители закона, видимо, остались в истории да в отечественной драматургии. Вот Родюшин как режиссёр и разыграл начальную сцену классической пьесы, в одном лице представив и Бобчинского, и Добчинского. А что? Старое ружьё стреляет. Причём бьёт без промаха. И в этом он вскоре убедился.

Дня через два после репетиции к нему подошла Оля Горникова. Улыбается. Директор подписал заявление на общежитие, и она в случае задержки теперь может заночевать в городе. Как было не порадоваться за девочку?! Одной проблемой стало меньше. А тут оказалось, что и в семье стало спокойнее. Поговорила с папкой по душам, так тот даже расплакался, поклялся завязать и больше не пить.

Оля вся прямо-таки светилась. Как? А как и впрямь Нина Заречная в начале пьесы.

8

С городом Родюшин не знакомился. Не видел надобности. Старинный, имевший несколько веков истории, за последние полвека он напрочь утратил былое своеобразие, если сличать со старыми фотографиями или сравнивать с другими городами — его ровесниками. Сначала по нему прошла хрущёвская волна, потом — не менее ураганная брежневская, а на исходе века обрушилось архитектурное цунами новобуржуазной застройки, и от былого своеобразия остались жалкие островки, не сметённые железобетонной стихией, да и то по закрайкам. А центральные улицы и проспекты превратились в нагромождение геометрических скал и утёсов, где обосновались торговые лавки, напоминавшие птичьи базары, такой там стоял “галдёж” вывесок, дешёвого шмотья и музона.

Потому, если выпадала пауза, Родюшин отправлялся к реке. Берег хоть и пучился от торгашеской пены — шашлычных и пивных балаганов, дебаркадеров с кофейнями и ресторациями, — первозданного величия и простора река, по счастью, не утратила. Он гулял по бетонной набережной, на открытых местах спускался к урезу воды, наблюдая за накатами волн, а то опять поднимался вверх, дыша во всю грудь волглым воздухом, пропитанным духом недалёкого моря.

Остановившись возле бетонного мола — причального ковша, — Родюшин опёрся о чугунный парапет, отлитый в виде растительного орнамента, и склонился к воде. Волнение здесь было меньше. Однако палая листва, кружившаяся возле бетонной стенки, никак не могла оторваться от неё, вырваться из какого-то заколдованного круга, точнее квадрата, словно здесь, в ковше, на неё совсем не действовали ни течение, ни свежий осенний ветер, ни само земное притяжение. Неотрывно наблюдая за этим неведомо кем управляемо-неуправляемым хаосом, Родюшин меж тем думал о своём. А ведь здесь, в речной заводи, при всех видимых и невидимых завихрениях, пожалуй, больше порядка, чем в его жизни, в судьбе, и тем более в его режиссёрских попытках сделать человеческий хаос управляемым, добиться слаженности актёров, создать творческий ансамбль, привести к стройности замысел драматурга.

Неожиданно в ковше-закуте появился утиный выводок. Странно было видеть пернатых в начале октября. Сезонные птицы, похоже, уже отлетели, а эти как будто и не помышляют. Кормёжка, понятно, тут пока есть, да и подбрасывают им — те, кто приходят сюда, крошат хлеб, сушку. Но зима-то не за горами. А о том не думают ни птицы, ни люди, подкармливающие их.

— Ага, — раздалось за спиной, — а у них, видать, тоже режиссёрские заботы.

Родюшин обернулся, оторвавшись от парашюта, хотя по голосу — слегка наседающему, силловатому — уже понял, кто это. Однако, увидев, несколько удивился. Если бы не голос да, скажем, в толпе, может, и не узнал бы, пройдя мимо. В театре Портнов казался проще, провинциальнее — нашёл Родюшин верное определение. Здесь же и сейчас выглядел этаким богемистым фактом: чёрный добротный берет, синий плащ-реглан, чёрные брюки, а довершал ансамбль красно-чёрный клетчатый шарф, завязанный модным артистическим узлом. Чем не столичная штучка! Родюшин, облачённый в серую двубортную куртку с кашпоном, в серую сванскую шапочку и потёртые джинсы, почувствовал себе не иначе как провинциальным родственником. Впрочем, длилось это недолго — он никогда не придавал большого значения внешней стороне, тем более одежде.

— Почему режиссёрские? — переспросил Родюшин, мотнув головой.

— А тоже ведь театр, — ответил с усмешкой Портнов, его сухощавое лицо оживлял лёгкий румянец. — Распределяют роли — решают, кому быть Серой Шейкой. — И без перехода заключил: — Воистину весь мир театр.

— Не любите?

— Иногда ненавижу.

— Отчего же? Разве он не облагораживает, не будит чувства?

— Вопрос — какие? Наталья Кирилловна, вторая жена Алексея Михайловича, любителя позорищ — сиречь зрелищ, глядела лицедейские забавы, сидя за ширмой. На ту самую пору в утробе её пёкса-изготавливался отпрыск Петруша, потом возведённый на престол под номером один. Насмотрелся будущий император, лихоимец всероссийский, как кувыркаются скоморохи да паяцы, а потом так же с ног на голову поставил державу. А ненастоящие слёзы да клоквенную кровь заменил натуральными.

Родюшин посмотрел на Портнова с пристальным интересом — недооценил. Однако поддерживать исторический пассаж не стал, зная, куда это может завести. Вместо этого спросил, почему же он не уходит. На это Портнов поджал губы:

— Куда? Мне пятьдесят пять, как говорит доктор Дорн. Поздно.

— А раньше?

— А раньше бабы мешали. Жёны.

— И много было?

— Третью прогнал.

Родюшин перевёл взгляд на уток. В поисках неведомо чего они пересекли кольцо палой листвы, что бесконечно кружилась под бетонной стеной, и вдруг часть листьев вырвалась из замкнутого круга и, подхваченная течением, устремилась прочь. Что-то мелькнуло в сознании Родюшина, но тут же пропало. Мелкая философия на глубоких местах, усмехнулся про себя. Но Портнов его неожиданную мимику принял на свой счёт.

— Думаете, женоненавистник? — Родюшин уловил запах спиртного. — Отнюдь, сказал граф и густо покраснел. — Избитая шутка ему самому не глянулась, он прикусил верхнюю губу, отчего нос заострился ещё больше, и резко перевёл разговор на другое.

— Я видел, Денис Геннадьевич, как вы восприняли мою реплику насчёт этой девочки. Нет, девочка-то ничего, толк будет...

Родюшин почти не удивился, что об Оле Горниковой Портнов сказал теми же словами, какие ему были приписаны. Стало быть, он, Родюшин, успокаивая Олю третьего дня, совсем не слукавил.

— Я не о том, — продолжал Портнов. — Знаете, Денис Геннадьевич, будь я и впрямь Тригориним, то есть писателем, я написал бы историю беды. А беда эта — женщина. Современная женщина, у которой никаких корней, никаких заповедей и заветов. Еву Господь создал из Адамова ребра. Евины дочери закончились на исходе двадцатого века и теперь рождаются из иной природы. Своё ребро им подкинул дьявол, подзреваю, даже не одно. Вот в пьесе-то треплевской он и царит, уже завершив зачистку человечества с помощью своего агента — женщины. Или точнее сказать — “пятой колонны” дьявола.

Тут налетел порыв ветра, студёного да хлёткого, всё всклокочилось, вспучилось, утки захлопали крыльями, снялись с прикормленного места, через минуту пошёл дождь, а следом стало кидать горсти мокрого снега.

— Похоже, мать-природа не соглашается с вашими выводами, — хмыкнул Родюшин, уворачиваясь от ветра и накидывая кашпоном куртки.

— Пойдёмте под крышу, — показал Портнов на ближний дебаркадер. — Тут барчик есть, мой сосед служит. — Он ухватил Родюшина под локоть. — Пойдёмте. — И, видать, уже давно проторённым путём потащил Родюшина к широкому трапу.

Бар — он располагался, видимо, на уровне нижней палубы — был небольшой, вполне приличный и почти пустой. За одним столиком сидела юная пара. Остальные места были свободны. Выбирай — не хоч. Они устроились возле окна, за которым мглился в ненастье речной простор.

— По коньячку? — осведомился Портнов, развязывая шарф и расстегивая плащ.

— Я — пас, — отозвался Родюшин. — Разве, кофе.

— Костя, — направляясь к стойке, сказал Портнов, — соточку моего и “Ямайку” для гостя.

Костя, здоровенный, широкоплечий малый, стоявший за стойкой, жонглировал, протирая, фужерами да рюмашками. Во работка! Ему бы на бульдозере или на подъёмном кране мантулить, или на бетонной эстакаде, а он с мелкой посудой возится. Родюшин не то чтобы осудил парня, нет, но, глядя на него, тихо вздохнул. В чём-то прав Портнов, когда бурчит о всеобщем театре. Всё смешалось на нынешней житейской сцене, временами напоминающая затянувшийся фарс. Вот по таким заметам и сознаёшь несуряцицу нынешней жизни.

Портнов доставил на подносике свой заказ, не пытаясь даже в шутку изобразить официанта. Чувствовалось, что он был настроен на разговор, на продолжение начатого разговора, ему хотелось высказаться, и рюмку коньяка, и чашечку кофе он снял совершенно машинально.

— Вы правильно сделали, что передали роль Луканиной. Сусанна давно перегорела, Стромиллова-то. И памяти от бывшего не осталось. Вернее, одна память и осталась. А у Симы всё ещё живо, всё ещё на нерве. Аркадина — это Луканина. Правильная рокировка. Хотя, — тут Портнов пригубил коньячку, — сейчас и Сима далеко не в лучшей форме. Проблемы. И не только житейские. Эва как она с репетиции-то сиганула!

Родюшин вопрошающе поджал губы. Да, бегство Луканиной со сцены посреди какой-то фразы, всхлипы, переходящие в истерику, его озадачили, что и говорить. Бежать следом было бы глупо, выяснить причины он тогда не стал, перешёл к другому действию, но озабоченность, конечно, осталась. Вот её и заметил Портнов.

— А хотите, Денис Геннадьевич, — предложил он, — я на правах Тригорина, писателя Тригорина, разовью одну историю или, сказать скромнее, опять же по Чехову — сюжет для небольшого рассказа?

— Сделайте одолжение, Игорь Дмитриевич, — прищурился Родюшин. Портнов оказался не так прост, каким показался вначале, и ему было любопытно услышать и мнение актёра, и одновременно понаблюдать за ним, вдруг что-то пригодится для его роли.

Портнов отхлебнул коньячка, сделал жест рукой, будто быстро-быстро пишет, но заговорил не в так скоропости, а медленно и раздумчиво.

— Серафима Андреевна возвращалась из театра полная смятения и тайного, даже, кажется, от себя, ликования. Свершилось то, чего она давно жаждала, хотя, видит Бог, и не прилагала серьёзных усилий. Она получила главную роль, сместив с трона свою основную соперницу. Это негласное состязание длилось долгие годы. Другая актриса с характером и задатками лидера, возможно, не выдержала бы ожидания и стала бы всячески отстаивать свои права. А она — нет. Не довольствуясь вторыми ролями, она всё же преодолела искушение затеять свару, интриги, вступить в тайную и явную борьбу.

Портнов говорил охотно и увлечённо, куда-то делась всегдашняя сипловатость, но речь его то и дело замедлялась. Тригоринские нотки сменялись

“отсебятиной”, слова “роли” — импровизацией. Так это казалось. Он будто на ходу сочинял, а то опять возвращался к некоему внутреннему монологу, видимо давно и не раз произнесённому. Но одно явилось тут и сейчас, вне всякого сомнения. Это когда он обыграл бутылочное стекло, придав чеховскому штриху новое звучание.

Родюшин слушал Портнова не перебивая. Только иногда жестом или взглядом просил что-нибудь уточнить. И Портнов, как опытный актёр, чувствующий партнёра, охотно отзывался на эти негласные реплики.

Что же открылось Родюшину в этом “тригоринском рассказе”? То, что у Серафимы Андреевны есть дочь и внучка, он уже знал. И о её непутёвом сыне был наслышан. Но, так или иначе, как женщина Луканина состоялась. А вот реализовалась ли она как актриса? Вот что, по мнению Портнова, должно было заинтересовать писателя Тригорина. К этому он и клонил, похоже отказавшись на время от убеждений сторонника Домостроя и приняв сторону писателя Тригорина.

— Могло ли её удовлетворить кино, те коротенькие сериальцы, в которых она в последние годы засветилась? Едва ли. Роли на одно лицо, вернее, для волевой особы, этакой Вассы Железновой современного разлива или матери обширного семейства, в котором отличное борется с превосходным, как в рекламе один порошок с другим... Нет и ещё раз нет.

Тут Портнов сделал паузу, как полагается по театральному канону, прежде чем изречь что-то значительное. И это во всех смыслах ему удалось.

— Её главной сценой стала церковь, — изрёк он.

— Та-ак... — озадаченно протянул Родюшин. Он даже подался вперёд, словно побуждая: а вот с этого места, господин Тригорин, пожалуйста, по-подробнее. Но, услышав дальнейшее, даже растерялся и был не рад, что и напросился.

— В той церкви, в том приходе служили наособицу. Там образовался свой клир — свой союз. Собирались почтенные люди — коммерсанты, випы, элита интеллигенции, то есть самые посвящённые лица. И у неё, Серафимы Андреевны, там было своё место, причём одно из самых ближних, самых почётных, у самых-самых риз. И это место, эта её роль казалась выше всех тех, которые мог ей предложить театр, не говоря уж о кино.

Родюшина покорило это сравнение. Он даже повёл протестующе рукой, словно норовя остановить собеседника, но жеста не закончил, заинтересованный открывшимся. Только в очередной раз укорил себя, что иногда перестаёт понимать, где кончается доверительный разговор и начинается сплетня.

Меж тем Портнов, не оставляя “тригоринского” тона, продолжал:

— В этом приходе служили не по старинке, а по-новому, то есть не на старославянском, как уже тысячу лет, а на современном обиходном языке. Тут всё было понятно и легко входило в сознание. Душа Серафимы, правда, поначалу слегка противилась: а правильно ли это? Но когда в храме стали появляться именитые особы, сомнения истаяли. Европейского уровня филолог-славист с русской родословной. Поэтесса, стихи которой похожи на молитвы и которую принимал сам Папа Римский, внимая её декламации. Народный артист, кумир истинных поклонников театра, который замечательно читает Пушкина и сам пишет оригинальную прозу... Соприкоснуться с такими людьми даже взглядами, а тем более разделять их взгляды, соприкоснуться одеждами, причащаться из одной чаши — это было сродни избранничеству, возведению в некую степень, посвящению в избранные.

Портнов повёл подбородком, видимо демонстрируя, как выглядит превосходство.

— Они даже нашли определение для своего избранничества. Стали называть себя братчиками. Один вспорх чирикающего суффикса — и ты уже выше скворечника. Как вам это?

При этих словах, явно выйдя из роли, Портнов усмехнулся, но улыбка получилась кривой, и он стёр её тыльной стороной ладони.

— Братчики эти, в том числе, стало быть, и Серафима Андреевна, до того отделили себя от прочих, что не пускали “посторонних” на Божественную литургию.

Тут Родюшин не выдержал:

— Не может быть. Если это православный храм — не может быть. Церковь для всех открыта.

— Не верите? — усмехнулся Портнов. — Понимаю. А что скажет Тригорин? Читатели, скажет Борис Алексеевич, могут не поверить такому повороту сюжета, но воистину нет предела человеческой гордыне! Она отражается в душе грешника, как в бутылочном стекле на плотине отражается мрак ночи.

Тут Портнов вскинул руки:

— О как сказал! — Он был искренен в этот миг. — Ай да Тригорин! Ай да сукин сын! — Тут же сам себя поправил: — Почему Тригорин? Ай да я! Он бы ни в жизнь такого не придумал. — И тут же полушутя-полусерьёзно себя осадил: — Во! Тоже гордыня. Теперь уже моя. Это же как зараза.

Они помолчали. Портнов допил коньяк, пристально посмотрел на Родюшина и прищурился.

— Не верите?! А загляните на епархиальный сайт. Там сейчас такая буря! Вы думаете, отчего Луканина тогда в истерику впала и кинулась со сцены, — он уловил спорх бровей Родюшина, — да-да, из-за этого... Можете не сомневаться. Попа тамошнего уличили в ереси и отстранили или как там у них? — отрешили от храма... — И через плечо кинул бармену: — Костя, у тебя бук на ходу? Открой, будь любезен, сайт епархии.

— Ересь в двадцать первом веке?! — не столько собеседнику, сколько себе сказал Родюшин. — Я понимаю, в четырнадцатом, в шестнадцатом... Но теперь?

Ноутбук переключал на их столик. Портнов, чтобы не мешать, отправился курить, а Родюшин принялся читать.

То, что говорилось на сайте о “зароостровцах”, как сказал Портнов, подразумевая нечто большее, чем просто географию прихода, поразило Родюшина. Лукавство, прямой обман, шельмование неугодных — вот что, оказывается, творят эти “избранные”. Хуже того, они втягивают в распри с епархией ребятишек, с помощью их устраивая шоу: дети на сцене разыгрывают акт инквизиции, бросая в костёр “неправильные” старые буквы, не ведая, что буквы эти освящены именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

А вот что изрекает глава этого “зароостровского” прихода: души грешников после кончины распадутся на молекулы. Ни больше ни меньше — на молекулы. Не в геенне огненной будут гореть, как предупреждает Христос, а безболезненно исчезнут. Стало быть, коли ты грешник, даже большой, — греши и дальше. Чего тебе в таком разе остерегаться Божьего суда!

Ему вторит уже упомянутый актёр. Больше того, этот актёр, по сути дела, выражает сомнение в Божественной сущности Христа: “Когда приводят к Нему грешницу Марию-Магдалину, Он сидит и чертит на песке, Он же в это время думает, Он не знает ответа”.

Кого ты, господин артист, играл, когда ещё не был народным? Остапа Бендера. “Великий комбинатор”, вспарывая ножом обивку стульев, действительно не знает, в котором из них бриллианты. Но почему ты уподобляешь его Христу? Иисус Христос — Сын Божий, “Единосущный Отцу, Творцу неба и земли, видимым же всем и невидимым”. Это из Символа веры, который для православного христианина есть истина. Для Христа нет неведомого и необъяснимого. Чертя хворостиной на песке, Он не распивается в Собственных сомнениях, тем паче — в незнании. Ведая всё и вся, Он чертит по песку хворостиной, а на самом деле листает страницы невидимых миру скрижалей.

Вернулся Портнов.

— Поразительное самомнение, — сказал Родюшин. — Лицедей в роли пророка — это понятно. Но лицедей-пророк?!

Портнов склонился к ноутбуку.

— А-а, — поняв, о ком речь, откликнулся он. — А для Симы это второй кумир после тамошнего попа. Скорее всего, через него, этого мэтра, она и получила свои сериальчики.

— Да, — вздохнул Родюшин, словно переводя дух. — Густо замешано. Жаль, мало прочитал.

Тут откликнулся бармен:

— Давайте распечатаю.

— Давай, Костя, — отозвался Портнов, — но прежде распечатай мне коньячок. Ещё соточку. — Он посмотрел выжидательно на Родюшина и, оставив сомнения, заключил: — И на этом будя!

Какой вопрос возник у Родюшина, когда он попытался разгрести мусор, тину и добраться до чистой воды?

— А что же муж Луканиной? “Жена да прилепится к мужу”. Что он?

— А что он? — Пожал плечами Портнов, он, похоже, уже окончательно вышел из образа Тригорина. — Он учёный. Историк. Доктор наук. Естественно, исторических. Поначалу, погружённый в свою науку, видать, ничего не понял, когда супружница запоеживала на острова в дальний храм. Ведь храм — не вертеп, опять же — персоны там видные. Какие могут быть сомнения! А потом, видать, уже и поздно стало. Одно дело гордыня явная, другое — когда скрытая, тайная... Как у Луканиной. Что ведь получается... Если можно подменять язык на молитве, можно подменять и понятия, и саму молитву, и сами заповеди Христовы. Например, “чти отца своего”. Отец суров, требователен? А мы чуть сгладим его наставления и требования, чуть смикшируем; через фотшош пропустим, чтобы картинка на выходе лучше выглядела; чуть поправим, чтобы дитяtko не занедужило.

— Так отпрыск-то Луканиной оттого такой?.. — Родюшин покрутил пальцем, правда, не у виска.

— А то отчего же? — пожал плечами Портнов. — Сынок дуется на учителей — мама переводит его в другую школу. В другой школе тоже свои требования — в третью... А что? Мама — известная здесь личность, она в сериалах, пусть и в мыльняках. С нею считаются... Посчитались в военкомате, когда пришла пора отпрыску служить. И в ментовке, когда первый раз его загребли...

— А отец? Отец-то что?

— А что отец? Вмазать, чтобы она в стенку влипла с её поправками? — так он же интеллигент, не чега нам, — Портнов похлопал себя по груди. — Выдрать отпрыска — поздно. Надо было это раньше делать, когда тот впервые нашкодил. Теперь уже сам размахивает кулаками.

— Ну и?..

— Посмотрел Степан Авенирович на этот домашний театр, плюнул да и уехал. Сейчас, слышно, где-то в школе преподаёт, сельской.

— Сбежал?!

— Это как посмотреть! Может быть, из кучи зол, возможных последствий выбрал меньшее...

9

Неожиданно подошла Маша, то есть Вера Нелюбова, которая играет Машу.

— Вы обходите меня...

Голос грудной, напряжённый.

— Обхожу? — переспросил Родюшин, наклоняясь к ней. Волосы светлые, а глаза тёмные. Редкое сочетание. Он сразу это заметил. Лицом не вышла — черты крупноваты, но глаза притягивают, даже, пожалуй, завораживают, как завораживает омутовая глубина.

— Мне кажется, я не так играю... — Руки в движении, словно что-то лепит.

— Почему?

— Внутреннее несовпадение, — голос осёкся и совсем тихо: — И даже неприятие.

Они стояли в закулисье, куда Родюшин ушёл после своей сцены. До конца действия у него выходов не было. Вера ушла со сцены ещё раньше,

и у неё тоже реплик не оставалось. Стало быть, она поджидала его, словно зная, что он уйдёт в эту кулису, а не спустится в зал. Впрочем, тут-то никаких загадок не было. На последних репетициях он так и делал, входя, как пояснял, в роль актёра и отходя временами от режиссуры, дабы не навредить собственной игре — за двумя зайцами ведь не утонишься. А то, не ровён час, на премьере вдруг возобладают режиссёрские привычки и взгляд пойдёт искать режиссёрский столик.

Сейчас, по правде говоря, Родюшин предпочёл бы столик и даже собственную “берлогу”, чтобы утишить сердце. Последние дни его лихорадило. Он непрерывно думал о Даше и в мыслях постоянно с ней говорил. Он даже поймав себя на том, что диалог с Ниной Заречной — это первое действие — у него изменился, словно перед ним была Даша. Иначе отчего бы так вспыхнула Оля Горникова и как-то не по пьесе потянулась к нему, хотя “ловцом” её был Тригорин, любитель рыбалки.

Родюшин кинул взгляд на сцену, снова перевёл на Веру, потом взял её под руку и повлёк к садовой скамейке, оставшейся от предыдущего спектакля. Чего мешкать, рассудил он, они не в пьесе, где надо выстраивать мизансцену. С Верой Нелюбовой он как режиссёр действительно ни разу не поговорил, стало быть, надо.

После Родюшин даже похвалил себя, что не уклонился от разговора, не сослался на занятость, на то, что идёт прогон. Ведь в другой раз Вера, может, так и не открылась бы, и он не узнал того, что знал теперь.

Что же мучило Веру Нелюбову, тридцатилетнюю актрису, игравшую в спектакле дочь Полины Андреевны и управляющего именем Шамраева? В чём же выражалось это “несовпадение и даже неприятие”?

Вера говорила тихо, словно гася свой низкий голос, но на самом деле подавляла волнение, которое её переполняло. Это не её роль. Маша ей глубоко чужда. А в последнем действии просто ненавистна. Как можно так относиться к собственному ребёнку, малой крохе, ему ведь по пьесе едва год?! “Третью ночь без матери”, — вздыхает Медведенко, муж её, и зовёт домой, а она равнодушно отмахивается.

— Вы знаете, — глаза Веры наполнились гневом, а голос упал до шёпота, — когда мне надо произносить эти слова, у меня сердце обрывается, будто это я предаю своего ребёнка.

Тут открылось, что у Веры трёхлетняя дочурка, и она в ней души не чает. Муж её бросил, погнавшись за какой-то столичной жар-птицей, но она не винит его, не клянёт. Напротив, благодарит Бога, что всё так устроилось. Она и не чаяла, что может быть такое счастье. Не счастье — чудо, явленное свыше, — вот что такое дитя её.

Как она преобразилась, Вера Нелюбова, кто бы это видел! Просто похорошела, явив, кажется, образ женщины в самом расцвете душевных и физических сил. Из глаз её ушла темнота, смятение, они лучились, сияли тихим, ласковым светом.

Родюшин кивнул, благодарно улыбнулся, взял руки Веры в свои. Что тут было говорить?! Дураки мужики, что такого не видят, не замечают, а замечая — не ценят. И Лунькова представил, и Портнова вспомнил... А о роли Верыной сказал так:

— Меняй ничего не будем. Может, в этом вашем внутреннем сопротивлении — некое оправдание Маши. Ваше неприятие — это её борение со своей страстью-наваждением. Вашим голосом, Вера, говорит её не до конца размызганная алкоголем совесть, её материнское начало, её природная суть, понимаете...

А завершил тем, чтобы она не меняла ни рисунка роли, ни тембра голоса, другими словами — помнила о своей дочери, произнося слова Маши.

* * *

И тут невольно возник вопрос к Горниковой. В перерыве для смены декораций Родюшин увлёк её в зал и повёл по проходу.

— Оля, — спросил он, — как ты относишься к своей героине? Ты одобряешь Нину? Прицаешь или завидуешь? Или хотела бы остеречь? Вот с первого появления Заречной на сцене — кто она, по-твоему? Душа чистая? Или уже грешная?

Оля остановилась, повернулась к Родюшину. Улыбка смущённая и, кажется, чуть кокетливая.

— Нина — моя ровесница. Ещё молода, нагрешить не успела. По крайней мере вначале.

Родюшин внимательно на неё посмотрел, словно впервые увидел. Круглое лицо, синие глаза, чуть вздёрнутый нос. Русые волосы, забранные на затылке в деловой пучок, делают её старше, точнее, строже. А может, складочка на переносице тому причиной?

— Скажи, как у тебя сейчас с отцом? Встречает?

— Встречает, — благодарно улыбнулась Оля, глаза чуть завлажнели.

— А не пьёт?

— Сорвался как-то, — она понурилась.

— Отчего?

— Да как сказать, — пожала плечами. — Я первый раз в общежитии переночевала. Спектакль закончился в одиннадцатом часу... Ехать поздно... А он... Ведь и предупреждала накануне, и звонила... А он всё равно...

— Но ты ведь понимаешь, почему?

Оля промолчала.

— Любящее сердце переживает, — мягко сказал Родюшин. — А как же иначе. Дочка, не мужняя жена — и не дома. Чужой, казённый дом, общага. Мало ли что? — Он коснулся её плеча. — А теперь поставь на место своего папы отца Заречной. Вроде он домостровец, стародум. А если взглядеться? Ведь отец мудрее дочери, это очевидно. Она вся — порыв, а он — смирение, рассудок, дальновидность. Отец не велит Нине бывать в усадьбе Аркадиной. Здесь богема, а значит, нечисто и чревато... Удел женщины, святая её доля — материнство, семья. Отец в этом убеждён и следует этому святоотеческому завету. А потому и к Нине так — строго, наставительно, по-отечески. Остергая дочь, удерживая дома, он словно предвидит, что с нею стрясётся: греховная связь с Тригориным, ребёнок, рождённый в сиротстве, его гибель... И всё ради чего?! Ради удела актрисы в заштатном театрике, ради жиденьких аплодисментов залётных купчишек, ради чего-то эфемерного, сиоминутного. Не слишком ли велика цена?!

Родюшин перевёл дух, оглянулся на сцену — там шла перестановка: декорациями “перелистывались” два года, прошедшие с начала пьесы.

— Нина грешна, — повернувшись снова к Горниковой, сказал тихо Родюшин. — Одержимая страстью славы, поклонения, она коверкает свою жизнь. Мало того, она губит Костю, который горячо любит её, ввергая его в грех самоубийства. Как же не грешна?!

Родюшин помолчал. А заключил так:

— Вот об этом, Оля, надо помнить. Переступая через наставления отца, Заречная совершает грех. Всё дальнейшее — следствие начального греха. А беды, которые почти довели её до безумия, — это неминуемое и закономерное наказание.

Оля слушала его внимательно и напряжённо. При этом всё время мяла ладони, словно что-то лепила.

— Что же мне поменять, Денис Геннадьевич? Как вести себя?

— Думай об отце. О собственном отце. По крайней мере в первом действии, когда Нина — ещё относительно послушная дочь. — Родюшин коснулся ладонью её строгой причёски. — Но ведь уже в первом действии сделан шаг к отступничеству. Верно? — Оля кивнула. — И обозначить бы это какой-то деталью. Может быть, косу расплести да заплести...

Оля подняла взгляд:

— А если ленту, — она коснулась пока не существующей косы. — Извлечь из косы бант и распустить. Не расплетая косы...

— А что, — подхватил Родюшин, — это мысль! Распущенная лента как знак того рокового шага. Заречная накручивает её на палец или на запястье.

Может быть, при первом появлении Тригорина. И ещё. — Он помешкал, — важен цвет. Какого цвета будет лента — белая или красная?

— Белая, — уверенно отозвалась Оля.

— Пожалуй, — прищурился Родюшин. — Юность, чистота. И ауканье с белой чайкой. — Он помешкал. — Ещё раз эта лента появляется при расставании Заречной и Тригорина в третьем действии, когда она дарит ему медальон. Лентой обвязана коробочка. Заречная развязывает ленту, показывает ему медальон, поясняя, что на нём написано, и опускает его вместе с лентой обратно в коробочку. Когда Тригорин наедине открывает коробочку, то медальон достаёт, а ленту небрежно откидывает, и она падает на пол, как тень убитой чайки.

10

Ах, как порадовали Родюшина разговоры с Верой и Олей — сам не ожидал. Вот уж действительно — нечаянная радость. После Портнова с его “тригоринским рассказом” это было как тот самый бальзам на душу. Есть, есть здесь здоровые начала — и в персонажах есть, и в актёрах. Не потому ли — для подкрепления, что ли? — аукнулось первое посещение Тулинского. И жёнушка его вспомнилась, одухотворённое сияние дома, и сынок его пятнадцатилетний, который вопреки сумрачному возрасту кинулся на шею своему любимому батюшке.

Тихая радость и даже умиление долго не отпускали Родюшина. Хотелось длить и длить их. Однако разговор с Портновым из памяти не вышел. О том постоянно напоминала Луканина. Слушая её реплики и следя за её мизансценами, режиссёр полнился тревогой. Не поторопился ли он, передав центральную роль Луканиной? Смятение её затаённо, но оно чувствуется и явно мешает работе. Не сорвётся ли она, не надломится ли, испортив премьеру? Не убежит ли со сцены прочь, как это уже было на репетиции?

Надо было с кем-то посоветоваться. Но с кем? Первый, кто пришёл на ум, — Портнов. Сам заварил кашу, пусть сам и расхлёбывает.

Портнова Родюшин задержал после репетиции и, взяв под локоть, предложил спуститься в зал. Они устроились на первом ряду.

— Игорь Дмитриевич, — закинув ногу на ногу и склонившись к собеседнику, улыбнулся Родюшин, — признайтесь, что вам не дают покоя лавры писателя Тригорина. Вы так живописно — безотносительно к теме — сымпровизировали текст, что я заключил: вы пишете.

Портнов слегка ступешался, словно его уличили в чём-то запретном.

— Да вы не смущайтесь, Игорь Дмитриевич, — Родюшин чуть было не хлопнул Портнова по колену. — Я, признаться, тоже пытаюсь... Как там говорит ваш Тригорин — “сюжет для небольшого рассказа...”.

Тут бы Родюшину уже перейти к главному, но его опять повело.

— Вот, кстати, на набережной... Хотел тогда спросить, да не с руки было. Дебаркадер там или пароход под старину — мачты, труба, балясины... “Паратов” называется. Хозяин что — поклонник Островского?

Портнов пожал плечами, выпятил нижнюю губу:

— Насчёт драмы не знаю. А хозяин — Панкратов Наум Казимирович, — ударение в имени он сделал на первом слоге.

— Редкий букет, — отозвался Родюшин.

— В смысле ФИО? Да, — поддержал Портнов. — И смотрите, как изящно замаскировал всё, исключив две буквы — собственные инициалы.

— И концы в воду...

— Да не совсем. Кто знает — прочитывает.

— Это называется: и хочется, и колется...

— Возможно, — уклончиво отозвался Портнов.

Пора было, наконец, переходить к поставленной задаче, но Родюшин опять выбрал окольный путь.

— Почему же вы меня туда не пригласили, Игорь Дмитриевич? А повели в соседнее заведение, по виду совсем простенькую таверну. Если продолжать коллизии пьесы, форменная “Бесприданница” или уже, если по именам, — “Лариса Огудалова”.

— Не скажите, — вдруг оживился Портнов. — Это и впрямь одна связка. Хозяин один. Но не всё то золото, что блестит! — Он поднял назидательный палец. — Главное-то тут в этой безымянной, как вы сказали, “Ларисе Огудаловой”! — При этом Портнов показал пальцем вверх, потом тем же пальцем покрутил, как крутят дорогой ключ, то ли имея в виду верхнюю палубу, то ли ещё выше, и вдруг осёкся, словно дошло, что проговорился, сказал что-то лишнее, и нахмурился, и закричал, будто Тригорин перед Аркадиной в момент размолвки, а потом вдруг тихо обронил:

— Оставьте этот сюжет, Денис Геннадьевич. Он не стоит того.

С этими словами Портнов встал и, сославшись на визит к врачу, удалился. Что оставалось Родюшину? Ругать себя за неуклюжесть, за непонятную подчас сумбурность собственных чувств да удивиться, почему с одним и тем же собеседником разговор иногда выстраивается, а иногда нет.

Мало-помалу досада отступила, а когда он поднялся к себе в “берлогу”, и вовсе прошла. Больше того, он вдруг подумал: да ведь это хорошо, что разговор не состоялся, что он не открылся Портнову. С актёрами говорить о своих сомнениях нельзя. Ни с кем. Ни с Портновым, ни с Луньковым, ни с Олей Горниковой, ни, тем паче, со Стромилловой. Иначе баццлла сомнения мигом поразит весь коллектив. И с Ларисой, дочерью Луканиной, тоже нельзя — родная кровь слишком субъективна. И вот тут возникла мысль о подруге Ларисы — Даше.

Годится ли Даша на эту роль? От роли в спектакле она отказалась, но, может, согласится на роль советчика. Даша — самая близкая подруга Ларисы, она, как он уже убедился, в курсе и театральных, и семейных дел Луканиной. Неужели не поможет? Ведь дело не просто в Луканиной. Ему, режиссёру Родюшину, важно понять, есть ли запас прочности у того домашнего спектакля, который он строит, крепки ли в нём связи и стропила, надёжен ли материал.

II

Даша пришла часа за два до занятий в вечерней школе, где преподавала. Школа эта находилась неподалёку от театра, стало быть, времени для разговора хватало. Вот только расположена ли к этому Даша? Ему показалось, что она была не то рассеянна, не то чем-то озабочена.

Первым делом Родюшин разлил чай, заметив при этом, что предпочитает чёрный цейлонский без всяких примесей, или, как говорят титестеры, осведомлённые в чайном деле люди, — купажа. Он сам отмечал, что бравировал специальными знаниями, но не приструнивал себя, когда такое было уместно.

Разговор он начал не то чтобы издалека, возможно, памятуя осечку с Портновым, но с некоторых подступов. Во-первых, помянул Дюймовочку, ту маленькую подружку Даши, что заведует охотничьим магазином, назвав её Трёхдюймовочкой, а потом Ирочкой-мортирочкой. Она по-прежнему звонит, приглашая в оружейную лавку то запастись дробью №2, а также “бекасинником”, то ягдташ приобрести — вместилище для трофеев, то бишь дипломов и медалей. Правда, гаубицу и мортиру пока всё же не предлагает.

Родюшин не особо вдумывался, где шутит, а где повторяет слова Дюймовочки, потому что здесь это было не особенно важно, он догадывался об этом по слегка отстранённой улыбке Даши.

Потом разговор перешёл на Ларису. Её имя, упомянутое Дашей в связке с Ириной, Родюшин повторил, ожидая какого-то продолжения, но Даша неожиданно заговорила об её дочке. Что ему оставалось делать? Слушать да поддакивать-подхватывать, понимая, что наступил на те же самые грабли, ибо зачин, подводки к теме надо готовить самому.

Что удивительно в Лариной дочке? Всё. Ей шесть лет, а она уже пишет стихи, да какие-то всё серьёзные, не детские. Про птиц, улетающих навсегда, про листья, которые несутся им вслед, но догнать не могут.

Родюшин оживился. Аукнулись недавние наблюдения: водоворот на реке, поглощающий палые листья; утки, которые заблудились в осени. Он стал размышлять: отчего же это у девочки происходит, почему иные дети

отличаются от сверстников, и, сам того не заметив, так далеко отошёл от намеченной темы, что уже, казалось, и забыл о ней. Больше того, по прихоти памяти или свойству характера, погрузился в своё собственное детство и так увлёкся, что не замечал нескладницы, не задумывался о последовательности, как это и бывает в рассказах детей. Глядя в зелёные глаза, которые в слабом свете торшера мерцали загадочно и маняще, он словно выпал из времени, погрузившись в давнее детское состояние, где всё на эмоциях, вспышках, а не на рассудке. Так бывало “на картохах”, когда сжигал с ровесниками у ночного костра. Так бывало с тётей Маней, когда он прибежал от зелёного омутка, над которым просиживал тихими сентябрьскими вечерами, и утыкался со слезами в её передник.

— Как ни очнусь, она молится. Иконка на тумбочке, она — на коленях: “Царица Небесная Матушка...” Потом тайком меня окрестила. Крестик, говорит, будет у меня. Носила два. А то ведь засмеют или поглумятся. Там же разная была публика — и шпана, и гоппики.

Даша не перебивала. Смотрела внимательно, широко раскрыв глаза. Тут она была собой, не то что при чтении пьесы. И видимо, чувствовала и понимала больше, чем слышала.

— До десяти лет ничего не помню. Будто свет выключили и звук убрали. Хотя и не слепой. И слышал, и видел. Аберрация памяти, если есть такое. Или ещё как... Не помню, ни как учился, ни как отвечал, ни где был, куда возили. Ничегошеньки. Ровным счётом.

— Ну как — ничего? — встрепенулась Даша. — А родителей? Бабушек-дедушек?

— Ах да! — Он слегка хлопнул себя по лбу. — Я же не сказал. Я вырос в детдоме. История обычная — подкидьш.

Глаза у Даши округлились и сразу переполнились, она глядела не моргая, чтобы не пролить их. Родюшин прикусил губу. Опустив голову, так что волосы упали на лицо, он мял под ними лоб и говорил в пол:

— Понимает ли несмышлёныш, что с ним стряслось? Наверняка ведь понимает, как всякое живое существо. Может, ужас положения и вышиб память, зажал тот канал, опередив инстинкт самосохранения. Чувства остались, но, возможно, не фиксировались. Ведь рассудок и память — не одно и то же. А может, причина в душе. Может, она обмерла. Скукожилась от ужаса, высохла, как горошина без почвы и воды. Не пело во мне ничего, не насвистывало. Или мамка забрала мою душу вместе с той клеёнчатой биркой, которой метят новорождённых. Сознание, похоже, работало, раз переходил из класса в класс, а душа... Странно, конечно. Вроде малец не олигофрен, иначе списали бы. Во вспомогательную школу, в дурдом, наконец... Нет. Что-то теплилось, видать, жило тут. — Он слегка хлопнул по груди. — Или существовало.

Переводя дух, Родюшин подлил себе и Даше чаю, жадно отпил, не заметив, что чай остыл.

— В десять лет я заболел. Так говорила тётя Маня, единственная близкая душа, она у нас кастеляншей была. Сначала будто грипп, потом сыпь пошла, потом всё стало неметь. Врача нет. Детдом наш за тридевять земель. К тому же межсезонье — весна, распутица. Какой тут врач, какая тут скорая!.. Лежал в изоляторе. Никого ко мне не пускали. Только тётя Маня... Принесёт обед в судках, а я не ем. Мне уже не до еды, ни до чего... Беспмятство. Сплю — не сплю. Или не сплю, как сплю. Но как всё же очнусь — она, тётя Маня. Ей было лет под семьдесят. Сынка её убили в пятьдесят третьем, когда из тюрем выпустили бандитов. Он ещё мальцом, подростком был, “чуть старше тебя”, говорила она. Доживала одна. Родни у неё не было. Вот меня чем-то заприметила. И я тянулся к ней...

Родюшин откинул с лица волосы, зачесал их назад обеими пятернями и тяжело, облегчая грудь, вздохнул.

— И вот однажды — помню ясно, отчётливо, как сейчас. Лежу, не могу пошевелиться. Слышу — тихая музыка, будто свирелька, и в ней горошинка. А сам я будто дудочка, в которую ветер не ветер, но будто кто дышит. И горошинка та будто трепещет. И звук такой раздаётся — ласковый,

протяжный, тонкий, точно ниточка, тоньше, кажется, младенческого волоса... А издалека доносится тихий голос: “Царица Небесная Матушка, Заступница Преблага, моли Господа о чаде малом. Вызови из беды...”

Давнее воспоминание обдало Родюшина тёплой щемящей грустью. Глаза его отуманились, и он прикрыл их ладонью. Затянувшуюся тишину нарушила Даша.

— А что болезнь-то? — прошептала она. Глаза её уже пролились, как тот переполненный омуток по весне, и сейчас блистали.

Родюшин отёр с лица хмарь и тихо улыbnулся.

— А веришь — чудо, — он, сам того не заметив, перешёл на “ты”. — Сколько я ещё лежал — не знаю. Но однажды поднялся. Солнышко. Река в берега уже вошла. Всё цветёт, ликует. Я встал и запел. Откуда только что и взялось. “Цену сам платил не малую, не торгуйся, не скупись, подставляйка губки алые, ближе к молодцу садись”. Это в десять-то лет!

Родюшин до того погрузился в прошлое, что, кажется, напрочь забыл о своих намерениях. Надо же как повернулось! Он собирался разузнать побольше о Луканиной, а его унесло вон куда. Но неожиданно Даша сама повернула в эту сторону, отозвавшись на его рассказ.

— Лариса на втором курсе забеременела. Особа она романтическая, увлекающаяся. Тут первая любовь. Ну, и случилось. Избранник оказался увы и ах. Слянул, не оставив следов, точнее наследив. Лариска ревит. Мы с Иришкой трясёмся над ней, боясь, как бы чего не сотворила с собой. Что делать? А время идёт, второй месяц. Лариска хочет сделать аборт. Мы в панике. Как верные подруги, кинулись к матери, выложили, что и как. У Серафимы Андреевны — криз, увезли на “скорой”. Через день-два она сбежала из больницы и — к Лариске. А у той назавтра операция. И вот тут мать, Серафима Андреевна, выложила последний довод.

Лицо Даши горело. Оно вспыхнуло раньше, когда она слушала Родюшина, но сейчас её лихорадило, словно она вновь и уже за всех них — и Ларису, и Серафиму Андреевну, и Иришку, и за себя — переживала ту давнюю историю.

— Убедила Серафима Андреевна. Лариса выносила ребёнка и благополучно родила. Девочка у неё на загляденье. И ведь с учёбой не отстала. Окончила универ вместе с нами. Диплом, кстати, писала по Чехову. И вы знаете, Денис...

Даша, похоже, собиралась развивать чеховскую тему. Родюшин остановил её.

— А что за довод-то выложила Серафима Андреевна?

Даша замыкалась.

— Тайна не своя, — вздохнула она. — Наверное, грешно, — покусала губы, вскинула взгляд, прищурилась, — но так и быть... Только ни-ни...

Родюшин закрыл рот ладонью.

— Когда Лариске исполнился год, мать вновь понесла. А время трудное начиналось... Вот они с отцом и решили... Решает-то, конечно, мать, — задумчиво добавила Даша. — Вина и грех прежде всего её. Да. А ровно через год после аборта родился другой ребёнок.

— Тот? — На сей раз Родюшин покрутил возле виска.

— Да, — кивнула Даша. — К сожалению. Вот это и остановило Лариску. А ну как и у неё так? Откажется от ангелочка, а потом бесёнок проклянется. Там ведь, это сказала Лариса, у матери мальчик завязался. Первый-то.

Они помолчали, потупив взгляды, а потом, как по команде, снова вскинули.

— И было это двадцать пять лет назад, — Даша выразительно посмотрела на Родюшина.

В этот момент они подумали об одном. Но по-разному. Она напрямую связывала его историю с тем, что рассказала сама. А он не то чтобы усомнился в этом, но словно растворил озарение во времени и пространстве.

Родюшину припомнились листья, что кружили в речной заводи. Возможно, их намело с ближнего бульвара, а возможно, принесло с верховий, и они были явлены ему на какое-то погляденье, а потом их волею течения понесло

дальше. И уток он вспомнил, что не улетают, а чего-то ждут — милости или сигнала. А те, что улетели, — вернуться. Одни на старые гнездовья, в которых сберёгся-сохранился прошлогодний пух, а иные новые совьют, где им глянется и куда их определит Вышняя воля.

12

После первого пара Родюшин решил навеститься к массажисту. Боль в спине опять обострилась, и надо было как-то одолевать эту напасть, которая особенно донимала по осени.

Массажная находилась в другом крыле бани. Так пояснила старуха-постранница, добавив, что это рядом с вип-сауной, при этом чужое новоманерное слово произнесла как “вышь”. Найти искомое не составило труда. В том конце было всего две двери. Одна — железная — на кодовом замке, другая — деревянная — как раз напротив, она была приоткрыта. Родюшин заглянул в притвор. Стол был занят. Массажистка — крупная ядрёная баба, — подняв голову, кивнула, дескать, вижу-вижу, но придётся подождать.

Родюшин огляделся. Возле железной двери стояли два стула, а между ними небольшой столик, на котором в беспорядке лежали гламурные журналы. Он сел на стул, от стоял дальше от двери. Печатный мусор его не интересовал. Зато обратил внимание на металлическую баночку, которая, видимо, служила вместо пепельницы. Неужели же господа випы не могли поставить чего-нибудь попримичнее? Посудина напоминала баночку из-под обувного крема, но была чистая, если не считать пепла. Дно её почему-то оказалось пробито. Где-то он такую уже видел. Но где? Из-под верхнего журнала что-то выглядывало. Не крышка ли? Он приподнял журнал. Так и есть — крышечка от этой самой баночки. В неё, похоже, тоже трусили пепел, и она тоже оказалась пробита. Странно, какая в этих дырках нужда? Не на стенку же их вешают. С лёгкой брезгливостью Родюшин перевернул крышечку. И что же открылось? Это оказалась баночка и крышка из-под пуль для пневматической винтовки. Внизу на чёрном фоне выделялись красные буквы названия фирмы — САМО. Выше на голубом фоне калибр — 4,5. Ещё выше, на фоне мелкой мишени, — Round bola, то есть круглая пуля. Пуля-дура, а эта к тому же круглая да в круглой баночке. Занятно! Родюшин стиснул края. Жёсть была жёсткой. Вряд ли её пробивали таким свинцовым кругляшом, что изображён на фоне мишени, к тому же двойную, в закрытом виде, что ясно по одинаково рваным краям. Стреляли явно из нарезного ствола, и гораздо большего калибра.

Из массажной вышел молодой — лет двадцати пяти — парень. Плечи его были расписаны какими-то диковинными — не то тропическими, не то райскими — птицами, поющими в орнаменте цветов и листвы, а на груди во всю ширь распахнулся орёл. Ишь ты, какая птица, хмыкнул про себя Родюшин. В клетке этот петушок ещё не сидел, но антураж соответствующий уже обрёл. Дурачок! Заметил ли парень что-то в чужом взгляде или его собственный вид всегда был таким, но он, набычась, глянул на Родюшина и прошёл к железной двери. Дверь тотчас открылась, словно пещера Али-Бабы, оттуда донеслись хриплые голоса, какие-то хлопки, пахнуло дымком — не то кальяном, не то ещё чем-то, и снова затворилась.

— Входите, — раздалось из массажной. Родюшин оправил трусы, на ходу скинул с плеч махровую простыню и, подойдя к массажному столу, одним махом накрыл его.

— Ишь ты! — одобрительно хмыкнула массажистка. Это была дородная тётка, и в свои пятьдесят не потерявшая природного румянца, — таких улыбающихся когда-то изображали на плакатах в виде передовых доярок или ткачих. Однако, когда Родюшин улёгся и подставил ей свою спину — поле для трудовой деятельности, — то не только румянец, но и улыбка явно сошли с её лица.

— Эх тебя! — она даже присвистнула. — Как тогда прикажешь-то?..

— А как всех, — сцепив руки в замок, буркнул Родюшин. — Вдоль и поперёк. Не чинясь, — и добавил, чтобы снять сомнения: — Один дедок —

травник, знахарь — говорил, что протоки сужены. Дал настоев, мазей, а ещё, говорит, мять надо периодически, чтобы застоя не было.

— Ну, мять-то я помну, — она положила на его спину тяжёлую руку, но всё ещё мешкая.

— Смелее, — подбодрил Родюшин и, чтобы отвлечь внимание, осведомился, откуда у неё такая татуировка — на тыльной стороне левой руки он заметил синий вензелёк.

— А-а, дракоша-то, — она явно смутилась. — Да так, детские глупости, — немного помешкала, — ошибки молодости.

Родюшин пояснил, что любопытство его не праздное. Похожий вензель он видел у одного прапорщика, бывшего моряка.

— Во-во, — отозвалась она. — Тот тоже был моряком. Морякуха — два уха, — и с пятого на десятое поведала, как всё было. Восточный дракон — символ счастья, знак вечной любви. Так пояснял дружок-моряк, когда накалывал ей, пэтэушнице, эту картинку, сверяя с той, что синела на его руке.

— Осчастливил?

— Стопудово, — всхохотнула массажистка. Выражение из молодёжного сленга оказалось вполне уместно. — Двойню залудил. — При этом так яростно вонзала пальцы в плоть Родюшина, что он аж застонал.

— Ошалела жёнка, — попрекнула себя массажистка и, чтобы не заводить, от темы отступилась. У неё всё хорошо, всё путём, не хуже, чем у других. Однако память, как сунутая в костёр головешка, уже, похоже, пыхала помимо её воли.

Трудилась на ближней верфи, была варилой — сварщицей. Как матери-одиночке, дали комнату, детишек — сына и дочку — без очереди в садик устроили. Чего ещё надо?!

Нетрудно было представить её, здоровую, крепкую бабу в брезентовой робе со щитком, с пучком электродов за голенищем, в сверкании магниевых вспышек. Эдакий “швой парень” в мужицкой артели. Но и с детишками на руках — одна за папку и за мамку — тоже представить не составляло труда.

Тогда, понятно, не думалось о счастье. Жила себе и жила. Как все, не лучше и не хуже. А теперь-то дошло: это и было счастье. Всё ведь в сравнении познаётся. Когда начался в стране развал, верфь закрыли. Мыкалась в поисках заработка где придётся — и билетёром, и на станции грузчиком, и почтальоном, и дворником. В торговле попробовала — не смогла, мешки разве таскать, а мухлевать не научилась, в их родове в заводе такого не было. Вот пошла в массажистки, пока сила есть. А куда денешься? Надо помогать. У дочки тоже двойня. Мужа-то нет. Был милиционером, отправили на полгода в Чечню, подорвался на mine.

— А сын? — после паузы спросил Родюшин.

Она вздохнула, этак тянула, всем большим нутром. Оказалось, и сын в земле. Зарезали. Связался с такими вот — она, видать, кивнула в сторону железной двери...

Родюшин промолчал. Что тут говорить, когда вся держава разделилась на две неравные части — обездоленных и головорезов.

Массаж пронял Родюшина. Он так и сказал массажистке, кладя на столик деньги. И, выйдя в коридор, захотел немного передохнуть.

Он сидел на том же стуле, что и в ожидании массажа. На столике всё оставалось по-прежнему. Нет. Крышка лежала поверх журналов, а баночка сбоку, на поверхности столика, и из неё торчал свежий окурок, он уже не точился табачной вонью. Родюшин таки вспомнил, где видел такую же баночку или крышку от неё. Память его не подвела. Это было в литчасти. Он пришёл к Ларисе узнать номер Дашиного мобильного и увидел в кресле хатовато развалившегося парня, как потом оказалось, Ларисино брата. В пальцах его была зажата погасшая сигарета, а возле ног валялась такая вот баночка.

По давней привычке тащить всякое лыко в строку Родюшин мысленно повертел так и сяк эту деталь, прикидывая, нельзя ли пристроить её в какую-нибудь сцену. Но ничего путного не нашёл. Занавески банные образ по-

родили. А эта деталь никуда не вписывалась — она была чужеродна, хотя оружие в пьесе и фигурировало.

Зато водная стихия бани дала повод обратиться к звукам. Надо в последнем действии передать звуки ненастья — шум дождя, раскаты грома. А в первом какие звуки просятся? Лето, начало лета. Кукушка. В июне ещё кукует. А чайки? В “Чайке” должна быть чайка. Далёкие крики озёрных чаек. А ещё ласточки, обязательно ласточки. И... ангел.

“Тихий ангел пролетел”, — отмечает Дорн. Это в душе его или снаружи? Снаружи, в воздухе, в ближнем пространстве. Но как это передать? Ведь не звуком, не шелестом даже. Может быть, светом? Явить светлую зарницу, светлую тень, отражённый блик белой материи. Треплев перечисляет: “Первая кулиса, вторая...” Может быть, марля, лёгкий шифон, подсвеченный луной... Нет, всё это слишком нарочито, материально, натуралистично даже. Лучше никак, чем так. Это состояние, это явление отмечено одним Дорном. Вот его голос и должен явить тихого ангела. Надо будет сказать об этом Полежичу.

13

Разрешил ли разговор с Дашей озабоченность Родюшина? Едва ли. Открылось нечто новое в судьбе Луканиной. Оно не убавило сомнений, однако выявило некую логическую закономерность.

Женщина, которая называет себя поэтессой, хотя пишет средние стихи, убивает истинного поэта и получает за это срок. Не за убийство поэта, хотя следовало бы увеличивать срок за поругание Дара Божия, а за убийство человека. Женщина, которая в зародыше убивает своего ребёнка — не поэта, но уже человека, — срока не получает. Однако значит ли это, что она остаётся безнаказанной?

Вот Луканина. После аборта ей почти тотчас же был дан другой ребёнок. Дан зачем? — на исправление “ошибки” или на будущее наказание? Как знать. Совершив тот грех, она добросовестно выносила другого ребёнка, то есть прошла назначенный путь. Однако, когда чадо её достигло подросткового возраста, она опять поступила самоуправно. Потому что скрывала и покрывала его выходки, вводя в семейный обиход лукавство, недомолвки, а по сути — обман, то есть совершила новый грех. Итогом стал семейный крах. Стало быть, прежний грех породил другой, и затем последовало наказание.

Сколько их, таких волевых и решительных женщин, сейчас обретается на свете? Распутное общество навязало им вольницу. Нет ни морали, ни совести, ни Божьего назначения — всё позволено. Вот у них и закружилась голова, когда дорвались до самостоятельности и упились волей. Ориентиров нет, они отринуты, во всём сплошная путаница. Где лево, где право — не поймёшь. А потому валя туда, куда кривая выведет. А куда она выводит? Теряя женское, не обретая мужского, они всё больше запутываются, множа свои грехи. А потом в одиночестве воют по ночам, кляня судьбу и весь белый свет.

Вот так, возможно, и Луканина. Побила её жизнь, поваляла, но так ведь и не научила. Грехи прежние усугубились бабьей гордыней, а гордыня привела к ереси, в ту самую, как говорит Портнов, “зароостровскую” секту.

Размышляя так, Родюшин никого не обличал и не клеймил. Не в его это было правлах. Даже за режиссёрским столиком — со своей законной кафедрой — он не позволял себе гнева, осуждения или порицания. А в таких случаях и подавно. Размышляя, он остерегал и себя: не судите да не судимы будете. И то и дело обращался в мыслях к собственной матери.

Мать бросила его, совершив грех. Но ведь не умертвила в своём чреве, выносила, дала жизнь, вывела на свет и вверила милости Божьей. Как же он мог осуждать её, тем паче ненавидеть! Он жалел свою неведомую мать, молился за неё, дабы Господь не оставил её, хотя она и оставила дитя. Больше того, эта его жалость распространилась и на Луканину, и на Стромилову, и на всех других женщин в театре, которые выбрали эту странную профессию. И ещё больше — она простиралась и на персонажей чеховской пьесы, заблудших и одиноких женщин.

Тихая нежность охватила Родюшина. Днём, в рабочую пору — во время репетиций, прогонов, уточнения декораций, звука и света, деталей костюмов — она отступала, хоронилась где-то в потайках души. Но к вечеру, когда он возвращался в свою “берлогу”, она начинала теплиться, словно лампадка. Кто же являл этот свет в его душе? Даша.

С того разговора прошло уже несколько дней, а он по-прежнему очень явственно чувствовал её присутствие. Вот тут сидел он, здесь — она. И стояло сесть за столик, как вокруг занималось незримое силовое поле, от которого начинало быстро колотиться сердце, а в горле трепетало не то ликование, не то та самая песня, о которой он поминал.

Как же он открылся, как разоткровенничался! Да было ли вообще когда-нибудь такое?! Разве только в детстве и ранней юности, когда была жива тётя Маня. Только с ней он мог говорить обо всём на свете.

Даша сказала, что он хорошо слушает. Да нет! Это она замечательно слушает. Иначе разве он доверился бы так? Временами он забывал о её присутствии — так, во всяком случае, казалось теперь, — обращаясь своим внутренним зрением туда, куда, говорят, нет пути. Нет, он воочию увидел ту минуту, когда одолел болезнь — эту долгую напасть — и словно обрёл крылья, не зная ещё того, что это душа.

Это она, Даша, своим внимающим молчанием, своим сердечным отзывом привела его память к давним событиям, а потом попыталась дать и определение тому, что он таил даже от себя.

Уже под конец разговора, когда, кажется, он открыл всё из своего детства, она спросила о фамилии. Откуда же она появилась, кто дал и почему? Тут Родюшин уподобился ученику, который, сдав серьёзный экзамен, напустил загадочный вид, тем паче что сам-то, “впав в детство”, кажется, всё ещё обретался там. О, сказал он с таинственным видом — это наследие предков, сакральный знак, древнейший символ, но тут же прыснул, не выдержав собственной игры, и рассказал, как было дело.

Большинство сирот поступали в приют со своими именами, а в доме малютки, который находился под одной крышей с детдомом, имя-отчество давали как придётся — чаще по первой букве текущего месяца или по букве, которая соответствовала порядковому номеру месяца. А фамилию подкидывали всем одну — Родюшин. Так назывался ручей, который протекал подле детдома. Но тётя Маня, когда он уже повзрослел, “пришёл в ум”, поведала, что эту фамилию носили те, кто этот большой двухэтажный дом — их сиротскую обитель — выстроили и жили здесь до коллективизации. Это было большое зажиточное семейство: отец с матерью, с ними четверо сыновей со своими семьями, а всего обитало тут двадцать восемь душ. “Вот какая коммуна была!” Здесь, на выселках, в стороне от деревни, у них были заведены пашни, огороды, сенокосы, стояла ферма — коров держали, — на ручье была поставлена мельница, а на реке, в которую впадал ручей, заведено было рыбное становище. Богато жили, что и говорить. Но не кичились достатком, нрава были кроткого, христианского. Жертвовали на церковь, каликам переходим, побирешкам. Она сама, девчущка-сиротка, не раз бежала сюда, когда у маменьки-горюхи корки ржаной не оставалось. Но в тридцатом году жизнь в доме порушилась. Всё семейство арестовали как кулаков и куда-то выслали. С тех пор о них не было ни слуху, ни духу.

Даша позвонила через четыре дня и, словно продолжая прерванный разговор, сказала:

— А ведь ваша фамилия, Денис, возможно, толкуется как род кровников.

Родюшин до того обрадовался звонку, что не нашёлся, что и сказать.

— Не знаю, — уклончиво ответил он. — Филологам виднее. — На “вы” говорить не хотелось, а на “ты” почему-то не решился.

— Юшка — по-старому “кровь”, — авторитетно пояснила Даша. — Одна буква утратилась. Вот и получается, кровное родство или род кровников, — и почему-то вздохнула. — Завидная фамилия.

Вот об этом она и повела речь, когда они снова встретились. Фамилия, род, родова — это было важно для неё. Но начала она с того, что он хороший собеседник, умеет слушать, что теперь большая редкость.

— Про себя что-то крутишь-крутишь, а всё получается одно, точно ролик про погоду: температура плюс два, осадки в виде дождя и снега, — она кивнула за окно. — Хотя на самом деле слёзы.

Ещё в тот раз Родюшин обратил внимание на её задумчивый вид и даже спросил об этом. Но Даша уклонилась от ответа: “Потом разве...” В разговоре том она оживилась, и хмарь сошла с её лица. А вот сейчас Родюшин почувствовал острую вину, коря себя, что поступил тогда, как эгоист, всё внимание сосредоточив на себе.

Даше надо высказаться, чем-то поделиться. Он это понял ещё по предварительному звонку, разговору по телефону, по тому затаённому вздоху. А сейчас это было очевидно. О том взывали глаза, на которые словно пала какая-то паутина. Подруги подругами, а выходит, и они не всегда выручат.

Родюшин усадил гостью на то же самое место, налил в высокие стаканы янтарного соку — “Немного солнца в холодной воде!” — сел сам, взял её за руки, а потом укрыл их в своих ладонях.

— Вот так. И давай на “ты”.

Кое-что о Даше Родюшин уже знал. С её собственных слов, из коротких разговоров с Ларисой, из телефонных звонков Дюймовочки.

Отец с матерью развелись, когда ей не было десяти. Отец уехал в соседнюю область, завёл новую семью. Мать вышла замуж за другого, но отчим вскоре умер. Запилила, как пилила и отца.

— Папка с пилорама той убёг. Однако и он не зажился. Пилорама таки сказала. Умер четыре года назад. Остался у него сын, мой единокровный брат. А отец оставил деньги и завещание, в котором наказал, чтобы нам, детям его, была куплена большая квартира и мы жили бы вместе, брат и сестра.

Живут Даша с братом в трёхкомнатной квартире, правда, хрущёвке. По духу они совершенно разные. Он работает в скобяной лавке. Из интересов — телик и кока-кола. Но что делать — завет отца. Покойный, видать, понимал, что парню понадобится опека, иначе пропадёт — мать больна, других родичей нет, — вот и свёл их своей последней волей, надеясь на общность крови. Даша пытается его растормошить, с собой таскает. Но будет ли прок, кто знает — парень-то инфантильный, каких сейчас много.

Об инфантильности Дашиного брата сказала Лариса. Сказала и вздохнула. Лучше, дескать, такой, чем... Она имела в виду, конечно, своего братца, который теликом да кока-колой не ограничивается... Кстати, подумал тогда Родюшин, про одноразовые шприцы вполне могла сказать и Луканина, более осведомлённая по этой части...

И что же открылось теперь из разговора с Дашей, о чём она тревожилась в последнее время, о чём болело её сердце? Держа руки Даши в своих, Родюшин чувствовал её учащённый, прерывистый пульс и понимал, что оно буквально болит, её сердце.

— Мать — женщина железная, — тяжело вздохнула Даша. — Характер нордический — волевой, железный. Де Сталь. Только легированная, закалённая. У неё третий муж. Моложе её на десять лет. Взяла, видимо, с запасом, из расчёта, что ровесник опять скоро износится.

Даша не язвила, такой горечью исходило её сердце. Она объясняла и пыталась понять, как такое может быть. Старшая сестра в мать. Она, Даша, в отца. Отец пел, играл на гитаре, был компанейским, открытым. Мать — домоседка, домоправительница и домосамодержавица.

— Как они сошлись — загадка. Единственное объяснение: папка молодой был, ослеп от красоты. Там же блеск сибирского алмаза. Вот и ослеп, не увидев за внешностью характера. А когда одумался, прозрел — было поздно.

На исходе жизни отец решил поддержать детей. У сына мать слабая, попивающая, у дочери, наоборот, волевая, узурпаторша. Вот он и решил сделать их более или менее самостоятельными, оставив деньги на жильё.

Жильё есть. Но ведь от матери-то за ним не укроешься, не спрячешься. Даже если бы это была крепость. Она мать, у неё на дочь права. Да и она, дочь, не может оградиться, отрешиться от матери, иначе что тогда за дочь. Это же грех, большой грех.

Меж тем положение Даши всё более обостряется. Мать и старшая сестра, заединицы, решили её облагодетельствовать и выдать замуж.

— Пора, дескать! А то в девках засижусь. И то сказать — почти двадцать восемь. А жених видный. Подыскали по своему вкусу. Богатый, и не старый, и не глупый, и вполне... Я упираюсь. Они — ноль внимания. Устроили вечеринку. Нас усадили рядом. А потом оказалось, что это помолвка — ни больше, ни меньше. Вот и кольцо уже. Регулярно проверяют, носу ли... “Ты распишишь, а там видно будет...” — Это сестра, у неё тоже уже третий брак. Я пытаюсь симулировать: то проносит, то, мол, сама не своя, дурочку играю. Они — в консультацию. Все органы на ревизию. Проверили. И томография, и УЗИ, и у психотерапевта... Отклонений нет, всё в норме. Гуляй, Вася!

Голос Даши сорвался. В глазах стояли слёзы. Она усилием воли сдержала их. И, чтобы ослабить спазмы, глотнула соку.

— А недавно выяснилось, — голос её ослаб, — что мать взяла у жениха изрядный кредит... Я-то думала, откуда у неё эти меха, новая мебель, новая дача... А вот откуда. Продала доченьку и обзавелась.

Тут Даша уже не сдерживалась. Слёзы потекли ручьём, она сглатывала их, давилась и, уткнувшись в ладони Родюшина, просто залила их. Потом, уже оставшись один, он касался ладоней языком и слизывал эту соль, всем своим существом испытывая горечь.

Наплакавшись и переведа дух, отшмыгав носом, по-детски вздыхая, Даша, наконец, подняла голову. Глаза её зелёные, такие летние, совсем потемнели, как река, что текла за окном.

— А что, — словно рассуждая сама с собой, с лёгким вызовом обронила Даша. — Успешный мужчина. Он называет себя бизнесменом широкого профиля, не конкретизируя этот самый профиль. Деловой, волевой, пробивной. Чего ещё надо, говорят мои кровники, — Даша выразительно посмотрела на Родюшина, видимо, помяная свой звонок. — Иной раз проснусь среди ночи и думаю: а может, и впрямь?!

— Даша, — воскликнул Родюшин, тряхнув взлохмаченной головой. — Заклинаю тебя! Не спеши! Не делай опрометчивого шага!

15

На сцене уже стояли каркасы декораций, те самые две рамы, очертания усадьбы и театра. Уже обживалось пространство, уже основные мизансцены были решены. Однако режиссёр не успокоился и всё искал и искал.

Очередную репетицию Родюшин надумал начать с концовки третьего акта — сцены Тригорина и Аркадиной. Сам же решил не выходить сегодня на сцену. Какая-то сила удерживала его на расстоянии. Он сидел в глубине зала за режиссёрским столиком и был задумчив и сосредоточен.

После того, как Луканина-Аркадина, посмотрев на часы, произнесла: “Скоро лошадей подадут”, действие покатило по намеченной колее. Родюшин смотрел на сцену, но сегодня действие то и дело ускользало от его внимания.

Ему вспомнилось, как месяц назад вот здесь, перед сценой, он говорил о художнике Иванове и о его картине “Явление Христа народу”. Всё ли он тогда сказал, что хотелось и что надо было? Незримая золотая дорожка, соединяющая Христа и сотворца-человека, в данном случае актёра, — это путь к сердцу. Сердце человеческое наполняется христианской любовью, и свет со сцены, отражаясь от живоносного сердца-зеркала, нисходит в зал. Вот та формула, которую Родюшин пытался донести до актёров. Но сейчас он подумал, что следовало развить это, по крайней мере, для себя.

Глубинная причина, отчего художник Иванов не достиг задуманного, давно исследована — отступничество. Крещённый во младенчестве и верую-

щий, он не случайно взялся за эту тему. Но, оторвавшись от родины, проживший четверть века за границей, художник потерял связь с Православием. Мало того, он даже стал утверждать, что православные иконы пишутся неправильно, в них нет световоздушной среды, чем наполнены католические. Итог очевиден. Утрата святоотеческой веры лишила его сотворчества с Богом, отступление от Православия затворило его внутреннее зрение.

Пример с Александром Ивановым показателен. Однако это вовсе не аксиома. Многие соотечественники, оказавшись за кордоном — кто волей, кто неволей — вполне успешно работали там. Современник Иванова Гоголь писал в Италии “Мёртвые души”. Тургенев, подолгу живший во Франции, создал замечательные “Записки охотника”. А сколько произведений литературы и искусства дала эмиграция XX века — Бунин, Галина Серебрякова, Шмелёв, Михаил Чехов, Куприн... Все они долгие годы находились вдали от Родины, но их сердечные лампы не гасли, источая свет любви. И напротив — те, кто не покидает пределов Отечества, а живёт в среде, казалось бы, намоленной поколениями пращуров, от заветов отступают, становятся холоднокровными и лишаются добровольно вящего зрения. Почему?

Вот персонажи пьесы, которая сейчас ставится. Это же чистые безбожники. Разве что все произнесут: “Господи...”, а сами холоднокровны и равнодушны. Не равнодушны они только к предмету своего обожания — такому же грешнику. А актёры? Разве они не чета персонажам? Та же Луканина. После того как открылось столько всего потаённого, Родюшин порой чувствовал растерянность. Где концы? Где начала? С чего началось её падение? С лукавства, с ереси в том “зароостровском” приходе, с подмены основ, когда попирается место земного отца, место духовного пастыря, когда сомнению подвергается сама Божественная суть?.. Или приход тот для “избранных” был уже продолжением, а началом стало то, что она самоуправно исторгала из себя живую плоть, душу живую вырвала, которая укоренилась в ней по Вышнему промыслу?..

Родюшин пристально глядел на актрису, которая играла на сцене чужую судьбу и так же, как её персонаж, запуталась во взаимоотношениях, главное подменив вторичным.

“И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора... Ты думаешь, это фамилия? Я лыщу? Ну, посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгунью?”

Тут голос Луканиной сорвался. Она тряхнула головой и обернулась к залу, где в тусклом свете настольной лампы мглилось лицо режиссёра. Родюшин молчал. Молчал и Портнов, теребя тригоринскую шляпу. Молчали все, кто был не занят в этом действии и находился по закрайкам или в закулисье. Луканина обхватила себя за плечи и опустила голову.

— Стоп-стоп! — наконец поднялся Родюшин, хотя останавливать никого уже не требовалось, он вышел в проход и негромко хлопнул в ладоши. — Давайте ещё раз пройдемся по пьесе.

Окинув сцену взглядом, он широкими охватами рук предложил всем сплотиться, собраться кучнее, а тех, кто топтался в закулисье, поманил. Сам же остался внизу, в зале, но вышел к сцене и то стоял, повернувшись к актёрам, то прохаживался по узкому проходу.

— Приезжают в родовое гнездо хозяева, Аркадина и Сорин. Кстати, — тут он вспомнил Дашу и её брата, — не исключено, что единокровные. Отец один, а матери разные. Ведь разница у них семнадцать лет. Но разные они не только по возрасту, но и по характеру, по взглядам и образу жизни. Что их объединяет, так это родовое гнездо. Но это гнездо по сути уже не принадлежит им, оно заложено. Тут правит бал новый русский тогдашнего разлива, Шамраев. Чем не проекция на сегодняшнюю Россию?! Шамраев с ними, якобы хозяевами, почти не считается, и все доходы, как это понятно из пьесы, текут в его карман.

Родюшину вспомнился холёный мэн, которого он застал у директора, вернее, то, как тот время от времени дышал на свой перстень.

— Кстати, — отыскал он глазами Лунькова. — Алексей Ильич, заведите-ка для своего Шамраева перстень, может быть, с печаткой, и дышите на него. Это и довольство, и одновременно жест власти, который подчёркивает, что все окружающие его — приживалы. И психология приживал на них — как эта самая печать.

— Далее, — Родюшин снова двинулся вдоль просцениума. — Все они, по большому счёту, обыватели. Жизнь для них — лото, что их сводит за столом. А лото, стало быть, — подлинная жизнь. Я, понятно, немного утрирую. Но по сути-то верно. Из мешочка с лотошными бочечками судьба выкликает номера, сиречь годы человеческой жизни. Кому выпадает шестьдесят, кому восемьдесят, а кому всего двадцать пять. Но все они тратят свои ресурсы до удивления одинаково — в праздности, безделье и болтовне.

Дойдя до стены, Родюшин повернулся.

— Чем нынешние обыватели от них отличаются? Абсолютно ничем. Так называемый прогресс не влияет на образ мыслей, чувства и мироощущение. У тех свечи, керосиновые лампы — у этих энергосберегающие лампочки. А жизнь — подлинный светильник, дарованный Богом, — они сжигают одинаково бездумно. В итоге что от большинства остаётся? Чёрточка на памятнике меж датой рождения и датой смерти. Это и есть жизнь — жизнь большинства.

Он чувствовал, что говорит чрезмерно жёстко, и здесь это, может быть, неуместно, но остановиться не мог.

— Все они, наши персонажи, — обвёл взглядом актёров, — запутавшиеся в жизни люди. Их устремления, желания, усилия напоминают сказку о репке, только наоборот. В сказке к старику, который тянет репку, примыкают бабка, внучка и так далее, и сообща они таки вытягивают этот корень квадратный, то бишь округлый. А эти что? Они ведь тоже хватаются друг за друга: Медведенко за Машу, Маша за Треплева, Треплев за Нину, Нина за Тригорина, Тригорин за Аркадину, а по сути за... пустоту. Тянут-потянут, вытянуть не могут. И не вытянут. Потому что не слышат друг друга. “Э-эй, ухнем!” — они не споят. Они слушают только себя.

Тут Родюшин остановился и свернул в проход. Казалось, он возвращается на режиссёрское место, но нет — он не остановился, а пошёл дальше, вглубь, в сумрак зала.

— Самое страшное, — раздалось оттуда, — что в эгоизме погрязли женщины. Все они матери. Одни изначально, другие в процессе. Но какие это матери! Аркадина отторгает Константина, своего сына. У неё что, маленькое сердце? Вроде нет. Оно вмещает Тригорина, массу вымышленных персонажей, включая шекспировских Джульетту и Гертруду, а сына — нет... Полина Андреевна — несчастная жена, неудовлетворённая любовница, более чем странная мать. Она взывает к Треплеву, чтобы тот пожалел, приголубил её дочь Машу, взывает при живом муже Маши Медведенко, по сути — у него на глазах, как сводня. Маша, родившая от Медведенко сына, сутками не видит ребёнка, точнее, не желает его видеть, хотя чаду этому всего год, и он, естественно, нуждается в матери.

Тут у Родюшина перехватило горло, дыхание сбилось, он закашлялся и с трудом справился с этим внезапным приступом. Хорошо, что в этот момент он, меряя шагами проход, находился в самой глубине зала и актёры не видели его муки.

— И, наконец, Нина, — справившись с кашлем, продолжил Родюшин. — Она теряет ребёнка за пределами пьесы, об этом есть упоминание. Но теряет. Отчего? Да оттого же — от эгоизма, от одержимости страстью. Она возмнила, что главное для неё — сцена, хотя по пьесе неизвестно, насколько она хорошая актриса.

Родюшин подошёл к сцене, оглядел актёров. Взгляд его задержался на Вере Нелюбовой, тихой и незаметной актрисе, которая недавно порадовала Родюшина глубиной и чистотой своих взглядов и чувств.

— Давайте представим вектор их судеб, персонажей “Чайки”. Пьеса написана в 1896 году. До революции ещё два десятка лет. Большинство персонажей и реальных ровесников персонажей к той поре со сцены сойдут. Доживут до нее Нина Заречная и Маша. Им будет за сорок. Как вы думаете,

кем они станут, скажем, в 1918 году? Вера, кем станет ваша Маша? По какую сторону баррикад она окажется — за белых или за красных?

Вера от неожиданности вспыхнула, немного помялась, однако ответила громко и решительно.

— Если не сопьётся, станет управительницей имения. У белых или у красных? Скорее всего, у зелёных, где нет дисциплины и можно тешить своё самолюбие. Вполне могу представить её этаким атаманшей, которая палит из маузера направо и налево. Или же комиссаршей, которая ставит к стенке белых офицеров...

— Интересно, — оценил Родюшин и перевёл взгляд на Олю Горникову. — А что с Ниной станется?

Оля взглянула на Веру.

— Нина до такого не дойдёт, — и тут же перевела взгляд на Родюшина. — Она всё-таки станет большой актрисой. — Тут слышался явный вызов. — Не такой, как Комиссаржевская. Но тоже большой. Пройдя через страдания, она обретёт мастерство и раскроется в полную силу. После революции, возможно, покинет Россию и окажется где-нибудь в Париже, но скорее всего, останется и, как вы недавно говорили об Айседоре Дункан, станет, может быть, валькирией революции.

Родюшин кивнул, ничего не сказал, но, глянув ещё раз поочерёдно на Олю и Веру, вдруг ясно осознал, что ищет выхода. И долгий монолог с резкими, подчас несправедливыми оценками персонажей, и блуждания по залу, и сердечный накат, и вопросы к актёрам — это всё поиски выхода. Он неотрывно думал о Даше, весь охваченный тревогой за её судьбу, потому и ворочал эти житейские и театральные глыбы, бросая обвинения и обществу, и времени, и, кажется, самой судьбе. И, осознав, наконец, это, он поспешно завершил репетицию и тотчас устремился в церковь.

16

Как всего за сто лет разительно изменились человеческие нравы! Раньше, приглашая в гости, усаживали за ломберный столик, предлагая сыграть в шгос или раскинуть пасьянс. Либо, как в “Чайке”, в ожидании ужина играли в лото, выклика: 90 — дедушка, 44 — стульчики, 11 — барабанные палочки... Или выходили в сад, дабы заняться подвижными играми — крокет, лаун-теннис, серсо...

А теперь? Нынче гостей увлекают коллективным экстримом: одни — на горные трассы, другие — на криминальную охоту с вертолёт, третьи предлагают гонки на “буранах”, четвёртые зазывают в тир, где на выбор все виды оружия, включая, кажется, и гранатомёты.

В тир Родюшина пригласила Дюймовочка, хозяйка оружейной лавки. Предстоит годовщина “Ворошиловского стрелка” — её нового детища, и она хочет собрать друзей. “Нет!” — решительно отказался Родюшин: на носу премьера, дел непочатый край. Но Ирочка-мортирочка была настойчива. Она звонила каждый день, да не по одному разу. Пришлось согласиться. Хотя главным доводом стало то, что на приёме будет Даша.

Дашу Родюшин увидел сразу, прямо в вестибюле возле зеркала. Одета во всё чёрное — чёрную юбку, чёрный джемпер под горло, — она казалась бледной. Возможно, причиной был этот контраст. А может, мертвенный матовый свет распорядился её обликом и отражением. Рядом с Дашей стояла Лариса, она взбивала свою стрижку и нагоняла пряди на полные щёки. Её телесную полноту скрывала просторная пёстрая кофта.

Родюшин поздоровался, скинул куртку и присоединился к барышням. Тут откуда-то из стрелковых недр выпорхнула Дюймовочка. Маленькая, немногим выше охотничьего ружья — такое сравнение пришло помимо воли, поскольку было органично месту. Высокие каблучки её приподняли, но роста не добавили. Впрочем, этим она и была привлекательна, словно бабочка, что порхает с цветка на цветок. Конечно, ей уместнее было бы стать воспитательницей в детском саду, о чём она, по словам Даши, мечтала, однако судьба или чья-то воля распорядились иначе, приставив её к оружию.

На вопрос Родюшина, что раньше было в этом здании, Ирочка взмахнула ручкой. Здесь была ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа. Лет пятнадцать назад её закрыли, стало невыгодно. Здание долго пустовало. А потом его выставили на аукцион, и мы, гордо добавила она, торги выиграли. После этого Дюймовочка глянула на часы, — кажется, время, почти все в сборе — и пригласила гостей за собой. Двери, которые она распахнула, были украшены большой — на всю ширину — кованой мишенью.

Тир больше напоминал клуб. По крайней мере, ближняя его часть: мягкая мебель, столики, барная стойка, приглушённый свет. И только когда взгляд охватывал всё пространство, в глубине, на расстоянии, замечались мишени.

Мишени были неподвижны. Потому, вероятно, прежде Родюшин заметил человеческую фигуру, почти тень, которая скрылась за боковой дверью. Что-то знакомое увиделось Родюшину в этой фигуре. Хотя, может, и обо-знался.

Дюймовочка подвела друзей к барной стойке. Бармен, крепкий парень, под стать тому, что в “Бесприданнице”, разлил безалкогольное шампанское. Их таких, похоже, специально калибруют, чтобы в случае чего и укорот могли дать: там — в качестве вышибалы, тут — в качестве вхорвца.

Дюймовочка с воодушевлением рассказывала, как всё удачно сложилось с “Ворошиловским стрелком” — и проект, и смета были выполнены в кратчайшие сроки, потом они получили кредит, и всё завертелось. Родюшин делал вид, что внимательно слушает её, даже кивал — театр всему научит, в том числе такому отстранённому вниманию, — а сам между тем всё время держал в поле зрения Дашу.

Шампанское в Дашином бокале бурлило, а глаза её словно остекленели, они напоминали два застывших в льдинке листочка, которые он давеча увидел, выходя из театра. Вдруг Даша встрепенулась, глаза её распахнулись, потом сощурились и как-то разом затемнели. Она явно кого-то увидела. Родюшин медленно обернулся. От центральных дверей шёл высокий крепкий мужчина. На нём был синий спортивный костюм и распахнутая белая куртка, а в руке дымилась дорогая сигара. Всем своим видом он демонстрировал довольство и благодушие. Родюшин не был знаком с ним, но узнал его — именно этого человека он видел недавно у директора.

Поздоровавшись со всеми разом, мужчина слегка приобнял дам, а потом протянул руку Родюшину.

— Панкратов. Николай Кириллович. — На губах его играла улыбка.

Родюшин представился, а затем осведомился:

— Панкратов Наум Казимирович — просто однофамилец?

Ничто не дрогнуло в лице Панкратова.

— Вы ведь тоже в разных ролях — то Константин Гаврилович, то Денис Геннадьевич, то режиссёр, то Треплев, а то, слышал, и на Тригорина метите.

Информация исходила явно от Портнова, при том разговоре никого не было. Неужели Игорь Дмитриевич опустил до... А ведь не исключено. Пьющего человека нетрудно охотутать.

Панкратов развернулся, окинул широким хозяйским взглядом тир.

— Ну что, Ирина Алексеевна, не пора ли к делу? Шампанское — пузыри, шелест зефира, как рекут поэты. А в тире должны свистеть пули. Да и завели бы что-нибудь соответствующее.

Дюймовочка не мешкая сделала знак бармену. И тотчас же зазвучала музыка. Да какая! “Мы красные кавалеристы, и про нас...” Потом “Полушко-поле”, потом “Там вдали за рекой...”

Не первый раз Родюшин сталкивался с подобным. Бывшие комсомольцы, секретарьки райкомов, горкомов, а ныне крутые бизнесноки, на своих сходнях белугами ревут, завывая “Не расстанусь с комсомолом” или “И вновь продолжается бой”. У этого, Родюшин покосился на Панкратова, свой бзик — песни гражданской войны: здесь, похоже, весь репертуар такой — он уже догадался, кто тут заказывает музыку.

Меж тем Дюймовочка открыла сейф и стала доставать из его чрева пневматические пистолеты, выкладывая их на специальный передвижной столик.

До чего же нелепо эти железные изделия выглядели в её маленьких руках. Просто не к лицу были.

Момент, когда Панкратов подхватил Дашу под локоть и повёл в сторону, Родюшин не заметил. Его охватила досада — и на себя, что проворонил, и на Панкратова, что так бесцеремонно тут распоряжается. Он заметил, как заострились под чёрным облачением Дашины лопатки, а сама она напряглась, как струна. И может быть, продлись дефиле ещё миг, Родюшин вмешался бы, окликнул бы, что ли. Но Панкратов неожиданно развернулся, улекая за собой Дашу, и они вернулись к стойке.

Осушив махом бокал шампанского, Панкратов бросил взгляд на столик.

— Не, Ирочка! — помотал он головой. — Эти пукалки оставьте для пионэров. Дайте-ка ключи! — Он по-хозяйски забрал связку и пошёл к вмурованному в стену бронированному шкафу.

Родюшин мельком глянул на растерянную Дюймовочку, а потом перевёл взгляд на Дашу. Так вот откуда благополучие подружки. Дело не в счётке её и оборотистости. Да, одними глазами согласилась Даша и через силу выдавила:

— Это он.

“Он!” Вот оно что! Значит, это и есть тот самый “бизнесмен широкого профиля”. Мигом выстроилась цепочка: дебаркадеры с рулеткой и ещё чем-то потаённым, театр с общежитием, сауна, а может, и вся баня, этот тир... Что-то, возможно, ещё. А главное — подчинённые ему люди. Эти бармены, внешне добродушные, как псы-боксёры, но даст хозяин команду “фас” — горло перегрызут. И тот набыченный парень, что прошёл из массажной в сауну, и та вип-сауна, наполненная резкими мужскими голосами и какими-то хлопками. И понятно, что директор, этот купленный на время зиц. И возможно, Портнов... А главное — Даша!

“Даша — Дарья. Дарья — дар. Дар Божий нельзя продавать!” — твердил Родюшин всю бессонную ночь, когда Даша открылась ему. Он собирался утром же отправиться к её матери, чтобы воззвать к совести, — это же тяжкий грех торговать чужой душой, тем более душой собственной дочери, а потом наметил встретиться и с покупателем душ — “бизнесменом широкого профиля”. Но... К матери Дашиной он тогда не поехал, трезво осознав всю тщету такого шага, — утро вечера мудренее! — там всё слишком далеко зашло. А встреча с тем, кто собирается купить душу Даши, завладеть ею, как он завладевает, очевидно, всем, что попадает ему на глаза, Родюшину — волею случая, а может быть, промысла — представилась.

Панкратов извлёк из чрева бронированного арсенала два короткоствольных автомата. Это были АКС или, скорее всего, их модификация — ничто так не совершенствуется в мире, как оружие. Один автомат, вернувшись к стойке, Панкратов протянул Родюшину, а с другим, скинув белую куртку на руки бармена, тотчас вышел на линию огня.

Стрелок он был опытный. О том свидетельствовали его повадки и манеры — короткие, чёткие и даже грациозные движения. В театре у директора Родюшину увиделись его рысьи глаза, теперь он поправил себя — это леопард, который уже выбрал жертву, напряжился и сейчас метнёт на цель свои когти.

Специальные ниши в стенах гасили звук, и всё-таки автоматный бой застал всех врасплох. Лариса ойкнула, зажала уши. Даша съёжилась и пригнулась, словно пули свистели над головой. Лишь одна Дюймовочка, привычная уже к пальбе, сохраняла спокойствие и даже хлопала в ладоши, словно рифмовала аплодисменты с выстрелами.

Панкратов стрелял короткими очередями, время от времени заглядывая в стереотрубу, что стояла возле стендового столика, и, сделав, видимо, поправку, вновь бил по мишени. Рожок закончился. Не выпуская из рук автомата, Панкратов вернулся к стойке бара. Улыбка победителя свидетельствовала, что результатом он доволен.

— Ваша очередь, сударь! — повёл он стволом.

Родюшин мешкал. Не было никакого желания участвовать в этом состязании. Но тут он перехватил взгляд Даши. Что-то было в её глазах такое, что заставило его согласиться, словно от этого нечто зависело.

Выйдя на линию огня, Родюшин примерился. До мишени пятьдесят метров. Для автомата не мало. Но и не много. В самый раз. Он откинул приклад, упер его в плечо, стараясь не думать о предстоящей отдаче, перебрал пальцами, ощупывая рабочие поверхности автомата. Всё было по руке. Сняв предохранитель, он уже стал было поднимать ствол, но боковым зрением отметил какой-то тусклый блеск. Покосился. На ближнем столике лежала круглая баночка, она была пуста, а в перевёрнутой крышке от неё торчал свежий окурок. И крышка, и баночка были пробиты. Нет, он не ошибся, когда увидел спину уходящего человека, — это был тот самый парень, которого он видел в литчасти, брат Ларисы и сын Серафимы Андреевны.

Затянувшаяся пауза вызвала иронию:

— Давно не брал я в руки пашки, давно не целил из мелкашки.

— Да, — ответил, не оборачиваясь, на реплику Панкрата Родюшин. — Давно.

Сердце билось ровно. Руки были сухие. Он поднял автомат и, почти не целясь, всадил в мишень несколько коротких очередей.

Вскинул бинокль, услужливо поданный барменом, Панкратов. Но его неожиданно опередила Дюймовочка, выведя мишень на монитор.

— Вау! — воскликнула она. — Как гвозди!

Центр родюшинской мишени превратился в сплошное чёрное пятно, размежёванное небольшими просветами.

— Как гвозди, — повторила Дюймовочка, сверкая восторженными глазами. Панкратов осадил её взглядом и обратил лицо к подошедшему Родюшину, дескать, колитесь, сударь, откуда такие навыки.

Родюшин поморщился. Окружающие, верно, думали — от смущения, на самом деле — от боли, что пронизала всю правую половину туловища.

— Стрелковая рота, — нехотя пояснил он, откладывая автомат. — Каждый день на полигоне. Плюс полгода в Чечне.

Как смотрела на него Даша! Почти как тогда, когда он поведал ей о детдоме. Но как-то и иначе. Совсем другим было выражение у Панкрата, особенно когда он перехватил взгляд Даши. Родюшин увидел его висок и синюю пульсирующую жилку. Вот таким же свинцом пульсировала жилка на виске чеченца, который стоял к нему вполборота, и моргни Родюшин, командир блокпоста, этот гяур прошил бы очередь и его, и его товарищей. Но он, старший сержант ВДВ Денис Родюшин, оказался тогда проворней, хотя до конца и не уберёгся.

Приметив пульсирующую, похожую на свинец, жилку на виске у Панкрата, Родюшин догадался, что спутал тому все карты. Ведь это он, Панкратов, подлинный хозяин “Ворошиловского стрелка” и всего прочего, собрал их сюда, чтобы продемонстрировать им всем, а прежде всего Даше свою волю, богатство, свою блестящую физическую форму. А вышло что?!

Топтаться дальше не имело смысла. Такие мизансцены Родюшин решал махом.

— Мне пора, — сказал он. Главное сейчас было не показать, что он едва стоит на ногах.

Засобиралась тут же Лариса — надо за дочкой в садик. А секундой раньше — Даша. Она не стала долго объясняться, сказала, что от грохота у неё разболелась голова, и первой направилась к выходу.

— Я отвезу тебя, — бросил вслед Панкратов.

— Не надо, — не оборачиваясь, ответила Даша, выставив на ходу локоть. — Я прогуляюсь с Ларой.

И никто из уходящих не видел, как сжалась от обиды и страха Дюймовочка.

17

Тот день начался наперекосяк. Это было третьего ноября — канун Дня народного единства. Кто придумывает эти новые праздники и для чего? Охмурить народ? А он что, слепой, ничего не видит? Какое, к чёрту, единство, если кто в лес, кто по дрова? И в стране, и в театре. Нужно работать,

вкальвать, а они праздники устраивают! И всякий раз эти праздники выскакивают совершенно неожиданно, как чёртик из табакерки. Вот и нынешний. Опять выпадает целый день, а там выходные. Когда репетировать? До премьеры по боевой трубе “господина импресарио” — три недели. А дел ещё — выше колосников.

С этими невесёлыми мыслями Родюшин появился на сцене, а там — извольте полюбопытствовать — пьяный Тригорин, то бишь артист Портнов. Размахивает длинными руками, что-то бормочет, острый нос покраснел. То ли ещё со вчерашнего не протрезвился, то ли по утрунке хватил, решив досрочно отпраздновать народное единение.

Что оставалось режиссёру? Прогнать. Прогнал да велел ещё объяснительную написать. Портнов вяло заругался, отмахиваясь обеими руками, но пошёл, бормоча, что он и вообще может уйти. Уйдёт, а пропасть не пропадёт. Такие, как он, на дороге не валяются, даже если и падают. Скоро Новый год, он в Деда Морозы пойдёт. Там платят будьте-нате, не то что в театре. Последнюю реплику труша, в целом не одобрявшая явление Портнова в нетрезвом состоянии, поддержала, кто-то кивнул; а Луньков что-то и добавил.

Родюшин поманил Лунькова к себе. Нет, не реплика его заинтересовала. Он Портновым озадачился. Не знаешь, откуда чего и ждать. Успокоился немного с Луканиной — играет, срывов вроде нет, — так теперь этот — он с неприязнью посмотрел в темноту зала, куда скрылся Портнов.

— Алексей Ильич, — шепнул Родюшин, — вы навестите его. Канун премьеры. Коней на переправе не меняют. Вы поняли меня?

— Схожу, Геннадич, — по-свойски отозвался Луньков. — Только давай без докладных. Меж собой. Отгул, прихворнул, мало ли...

— Хорошо, — кивнул Родюшин и тут же пристрожил: — Но завтра чтобы как штык!..

Утро Родюшин предполагал начать сценой с балаганчиком — театром Треплева. Теперь, с уходом Портнова, реплики Тригорина придётся взять на себя, тем паче что сам когда-то просил об этом. Но тут возникла новая задача.

Зрителей треплевской пьесы Родюшин задумал поместить в зал. То есть актёры-зрители и зрители в зале на это время должны соединиться, дабы вместе заглянуть в неведомое будущее. Это был не просто режиссёрский ход, некий дерзкий поворот, оригинальное решение, как обычно пишут в театральных рецензиях, — это была попытка достучаться до сердец. Ведь люди, все они, актёры и зрители, будут сообща смотреть пьесу, в которой предстаёт обезлюдевший мир, Земля без людей.

Чтобы опробовать задуманное, Родюшин заранее подал заявку на монтажников сцены. Ему требовалось, чтобы на это утро из зала убрали первый ряд кресел, а вместо них поставили бы скамейки и разнокалиберные стулья, на которые актёры сядут. И что же? Его заявка оказалась не выполнена. Первый ряд кресел стоял на прежнем месте.

Родюшин вскипел.

— Роза Степановна, — окликнул Родюшин свою ассистентку. Дородная и неряшливо одетая особа довольно быстро предстала перед ним. — В чём дело? — Родюшин ткнул пальцем на кресла.

Розовощёкая Роза побледнела и прочмокала разбляканными губами:

— Леон Маркович не велели убирать ряд. У них план.

— Что-о? — протянул Родюшин. Этот зиц с камуфляжной плешью обещал ему полную свободу, по привычке путая понятия и назвав плацкартой карт-бланш, а теперь в самом элементарном отказывает! — План, говорите? Хорошо! Пусть тогда сцену опиливает. Мне требуется перед первым рядом полтора-два метра. Если ваш обожаемый директор возьмётся за ножовку сегодня, к премьере управится. Однако мне ждать некогда. Звоните в столярку и вызывайте пару мужиков с бензопилами. Всё!

Через пять минут в зал на рысах прибежали два рабочих сцены — это были старые знакомые Родюшина, причём совершенно трезвые. За несколько минут они отвинтили скобы креплений, убрали секции кресел, а на освобождённое место поставили деревянные скамейки. Актёры, явно озадаченные

крутыми мерами режиссёра и подстёгнутые быстрым результатом его действий, живо устроились по местам, словно стайка воробьёв на заборе. А Юрий Глебович Тулинский, широко улыбаясь, подкатил к ним на коляске.

Все, кроме Портнова, были в сборе — и Луканина, и Стромиллова, и Тулинский, и Луньков, и Полежич, и Вера Нелюбова, и Евгений Спирин, игравший Медведенко, — они находились в зале перед сценой. А на сцене за занавесом балаганчика дожидались знака актёры, игравшие работников, и Оля Горникова.

Родюшин дал отмашку и направился к балаганчику. Сейчас он должен был сказать слова Треплева, а потом спуститься вниз и играть Тригорина. Однако не успел он сделать по сцене и шага, как раздалась музыка. Элегия Массне предполагалась в самом начале как прелюдия к спектаклю, но заведующая музыкальной частью, видимо, что-то перепутала и включила её сейчас. Уже погружавшийся в сцену Родюшин, где ему предстояли две роли, ухом режиссёра вдруг почувствовал: не то. Не ту музыку они выбрали. Вообще не ту.

— Стоп-стоп! — оборвал он сцену. — Рита Васильевна!

Сию минуту явилась запыхавшаяся заведующая музыкальной частью — сухонькая и звонкая, как скрипочка. Музыка ещё звучала, а Родюшин, вторя ей, поводит пальцем, будто стрелкой метронома, но это означало одно — не то, не то, не то!

Рита Васильевна развела руками: он же соглашался, чтобы был Массне, хотя бы в начале. Родюшин кивал, подтверждая, что так оно и было, а сам уже находился в поиске. Проходя по сцене туда-сюда и вглядываясь в лица актёров, он вдруг остановил взгляд на Луканиной.

— Аркадина обожает Некрасова. Так, Серафима Андреевна?

Луканина кивнула: так говорит Треплев — его, Родюшина, персонаж.

— Да-да, — подхватил Родюшин. — “...Способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть”. Что из Некрасова положено на музыку и близко к теме? — Он вновь перевёл взгляд на музыкантшу, однако ждать не стал. — “Меж высоких хлебов...” Вот! — поднял он палец. — Вот тема. — И без перехода: — Кому это дать? В чьи уста? — Оглядел ряд актёров на скамьях. — Нет, не главным. — Обернулся к балаганчику. — Якову. Ну-ка, — кивнул Володе Лукину, сокурснику Горниковой, — знаешь?!

Тот не мешкая затянул, да так хорошо и ладно, что Оля Горникова, стоявшая рядом, подняла большой палец.

*Меж высоких хлебов затерялся
Небогатое наше село...*

— Вот, — жестом остановил его Родюшин, — до сих пор. Это в первом акте, когда работники просят у Треплева сбегать искупаться, пока не начался спектакль. Уходя, Яков и заводит эту песню.

Новое рождалось на глазах, и все актёры, — стоявшие на сцене и сидевшие внизу, — замерли. И музыкантша стояла, словно обомлев. И рабочие сцены не шевелились.

— Потом, — продолжал Родюшин, — эта песня возникает ещё раз, скажем, во втором действии, но уже пространней, куплета два. Может быть, в сцене с убитой Треплевым чайкой или в третьем — после попытки Треплева застрелиться. В четвёртом действии звучит одна музыкальная тема. В прелюдии к спектаклю — мандолина или домра в единственном числе. А в завершение — большая струнная группа.

Не перевода дыхания, Родюшин обратился к “скрипочке”:

— Найдёте запись? — Возражений принимать не стал. — Поищите — найдёте. Лучше в фонотеке пятидесятых годов. Тогда любили русское. Много было струнного. — И опять без перехода: — И звучит эта тема до конца спектакля, может быть, сквозь шум дождя, обвал грозы, едва слышимая. Как предчувствие и как неизбежность. — И вдруг запел сам:

*Меж двумя хлебородными нивами,
Где прошёл неширокий долок,*

*Под большими плакучими ивами
Упокоился бедный стрелок.*

Пел Родюшин негромко, но с чувством, от души, и все актёры, сидящие перед сценой и стоящие на сцене, вдруг заплодировали. И музыкантша, и рабочие сцены, и осветители, что обретались где-то чуть не под колосниками. Пусть на миг-другой, но это и было подлинное народное единение.

18

Последнюю сцену Родюшин поверял, отмеряя если не секундомером, то собственным сердечным метрономом. Он сидел на высоком табурете в центральном проходе и ронял в микрофон отрывистые команды. Со стороны эти команды могли быть непонятны, как невняты подчас движения рук скульптора, отсекающего кусочки мрамора или нащёпывающего опшмётки глины, но именно из подобных движений явился однажды Пигмалион, создавший Галатею.

— Итак, коллеги, повторим. Нина после рокового объяснения с Костей мелькает, освещённая зарницей, на сцене полуразрушенного балаганчика. Там темнота, которую будоражат отдаляющиеся сполохи. Чуть светится лицо Нины. Так, почти так. Софит — отсвет от дома немного прибавить. Хорошо. Тем временем в гостиной — Алексей Ильич, тут живет! — Шамраев достаёт из шкафа чучело чайки, чтобы напомнить Тригорину позапрошлого лето и начало его романа с Ниной. Так. Именно в этот момент лицо Нины освещается вспыхнувшей спичкой — она закуривает папиросу. Оля, скрип дверцы шкафа — тебе сигнал, через секунду ты чиркаешь спичкой.

Одним взглядом Родюшин коснулся страницы пьесы, хотя помнил её наизусть: “Тригорин (глядя на чайку). Не помню. (Подумав.) Не помню”. Отведя микрофон, Родюшин повторил слова Тригорина следом за Портновым и далее опять возвысил голос:

— Тут занавес от театратора начинает передвигаться и постепенно закрывать дом. А со сцены, как эхо недавних голосов, звучат слова Нины Заречной и Маши, сливаясь в одно. Фонограмму!

Зал заполняют два голоса:

— Люди... Двенадцать... Львы... Двадцать пять... Орлы и куропатки... Восемьдесят один... Рогатые олени... Четыре... Гуси... Четырнадцать... Пауки... Семнадцать... Молчаливые рыбы, обитавшие в воде... Тридцать семь... Морские звёзды... Сорок один... И те, которых нельзя было видеть глазом... Пятьдесят три... Словом, все жизни... Восемьдесят пять... Все жизни... Девяносто один... Все жизни... Девяносто три...

При последних звуках фонограммы Родюшин вскинул руку и резко опустил её:

— Зарница. Она высвечивает разрушенный балаганчик, на сцене которого уже никого нет. На столбе висит ружьё, опущенное дулом вниз. А занавес тем временем закрывает почти весь дом.

Дальше команд уже не требовалось. Всё шло своим чередом и в уточнениях не нуждалось. Он только фиксировал действие.

За сценой раздаётся выстрел. Дико, как по покойнику, воеет собака. Доктор Дорн спешит успокоить всех, плетя про свою походную аптечку, в которой, вероятно, что-то лопнуло. Испуганная Аркадина, которой выстрел напомнил нечто давнее, закрывает лицо руками. Последнюю фразу: “Даже в глазах потемнело...” она произносит уже за занавесом. В оставшемся световом уголке — Тригорин и доктор Дорн, который, листая журнал, тихо говорит, что Константин Гаврилович застрелился.

Было это за день до генеральной репетиции. Очередной прогон затянулся до самого вечера. Сил ни у кого уже не было. Отпуская актёров, Родюшин приложил руку к груди и попросил всех завтра хорошенько отдохнуть, чтобы со свежими силами одолеть очередной этап, при этом дольше свой взгляд задержал на мужчинах. Сам же поднялся к себе в “берлогу” с намерением немедленно лечь спать. Однако, как ни пытался, как ни умирал

себя, сон не шёл. Потому что всё время думал о Даше. Как она? Где? Почему не отзывается на звонки?

* * *

К вечеру повалил снег. Шёл он густо и непреклонно, словно упреждая всякие сомнения, что это надолго. И всё валил и валил.

В десятом часу, наконец, позвонила Даша. Попросила выйти к служебному входу. Едва он спустился, двери открылись, и вошла не иначе Снегурочка, до того Даша оказалась облеплена снегом. Вошла, отряхнулась, обтопталась, словно русского сплясала.

— Всё! — она подняла руку и повертела пальцами: кольца на руке не было. — Сронила-а колечко со правой руки.

То ли выжила, то ли душа трепетала, освобождаясь от тяжести.

Родюшин приобнял её, взял за руку и поцеловал в ладонь. Дашина ладонь пахла свежим морозцем, снегом и яблоком.

Генеральную репетицию провели за день до премьеры. Прошла она, к удивлению актёров, без сбоев. Те накладки, которые возникали по ходу спектакля, к игре труппы не относились. Куда-то запропастилось чучело чайки, потом его нашли почему-то в гримёрке Лунькова, но сам он клятвенно заверял, что и “руками к птичке не прикасался”. Чуть подвела фонограмма — не вовремя взвыла собака, да громче, чем следовало, в четвёртом акте зазвучала музыка. А у актёров всё удалось. Они просто сами дивились этому, памятуя другие генеральные, и — тьфу-тьфу — оборачивались через левое плечо.

19

В день премьеры Родюшин проснулся спозаранку. Рана болела. Сердце было не на месте. Прислушиваясь к своим ощущениям, он быстро оделся и поспешил в церковь.

Стоял свежий морозец. Снег под ногами скрипел и пахнул арбузом. Тут бы радоваться, что наконец сковало слякоть и не пахнет гниющей листвой. А его пронизывал озноб. Вспомнилась чеченская осень, подорвавшаяся машина с разбитыми арбузами и двое ребят из его взвода среди этой каши. Вот так же пахло арбузами, а ещё тротилом и кровью. Кровь смешалась с арбузной мякотью, и в сумраке было не разобрать, где мякоть, а где человеческая плоть.

Была среда — первый день Рождественского поста. Родюшин отстоял службу, исповедался, причастился. А ещё поставил три свечи: одну на помин души рабы Божьей Марии — тёти Маши, а две другие во здравие — Дашино и своё.

Из храма Родюшин вышел, когда стало светать. Дыхание мало-помалу выровнялось. Рана поутихла. Тревога до конца не прошла, но обрела иную тональность, став повседневной озабоченностью.

С утра Родюшин проверил технические службы, заглянул к осветителям и в музыкальную часть. А сцену лишь окинул взглядом — там только-только начали монтировать декорации.

Премьера собрала полный зал. Публика давно не видела классику, соскучилась по добротному русскому языку и раскупила билеты на несколько спектаклей вперёд. Директор потирал пухлые руки и хлопал себя по бокам, словно проверял потайные карманы: “Вот это да! Полный аншлаг!” Последнее слово он знал твёрдо, поскольку оно аукалось с доходностью.

Перед спектаклем Родюшину хотелось увидеть Дашу, может быть, услышать от неё что-то ласковое, обещающее, самому что-то сказать. Но приказал себе не делать этого. Как свою боль не передашь другому, так и свой крест надо нести самому. Эта мысль остерегла его и от каких-то напутствий и наставлений актёрам. Они профессионалы, сами всё сознают. Излишняя опека приводит к безответственности. Однако обошёл их всех — кого в гримёрке,

кого уже за кулисами, при этом о грядущем спектакле ни с кем не заговаривал. У Стромилловой на пышном рукаве её блузы поправил складки, подумал — как ленты у венка, и тут же одёрнул себя: эх тебя! Луканиниво поцеловал руку, она вскинула удивлённо брови, и он подумал, что этого делать не следовало, ведь Аркадина держит сына Костю на расстоянии. Олю Горникову приобнял, как младшую сестрицу, услышал, как громко стучит её сердце, поправил заколку в волосах, чтобы не рассыпались, погладил руку. Лунькову руку пожал. Портнова взял под локоть и прошёлся по закулисыю, словно вводя в ритм, — Портнов по темпераменту, как виделось Родошину, превосходил своего персонажа. Вере Нелобовой посоветовал показаться в этом нарядном золотистом платье дочурке, а может, и сфотографироваться с ней. Особо ласков он был с Тулинским, взяв его сухонькие руки в свои ладони. Юрию Глебовичу возвратили его привычную коляску, покрыв её по ступицы колёс большим песочного цвета клетчатым пледом — странно, что раньше не догадались! — и он радовался этому, как ребёнок. Полежичу, заметив хрипотцу в его голосе, Родошин дал леденец: “Это с эвкалиптом, — и пошутил: — Я ведь знаю, что у доктора Дорна, кроме валерьянки, ничего в аптечке нет”.

Спектакль начался с тонкой струны. Домра издала чистый звук — мелодию народной песни. И покати́лась извечная русская драма.

Странное это дело — театр. И наивное, как детская игра. И греховное, как бесовские игрища. И где тут граница — подчас и не разберёшь, столь изощрённой бывает постановка.

Современные пьесы — это либо отражение классики, либо невнятица, возведённая в степень. Во втором случае сцена превращается в некое языческое капище, где актёры молятся фетишу драматурга или режиссёра и по сути являют друг другу не души, а свои маски, которые лепит на их лица языческий костёр.

Ответы классики в современных пьесах — это не более как далёкие огни, которые не высвечивают главного.

Но ведь и классика не всегда удаётся на сцене. Сколько бывает провалов, когда режиссёр берёт классическую пьесу, но решает её умозрительно, формально, не чувствуя внутренней потребности в постановке. Взять классическую пьесу — это ещё не факт, что будет результат. Такая пьеса, как линза, которую надо повернуть так, чтобы поймать ею золотой лучик и чтобы этот золотой лучик, пройдя через толщу выпукло-вогнутого стекла — читай *коллизии драмы* — не исказился, не преломился, а сфокусировался в сердце актёра и, отразившись от него, незримо устремился в зал. Высокий пример — Господь. Он сфокусировал небесную сферу, чтобы однажды на маленькой планете Земля занялась жизнь, а потом создал человека — Своего сотворца, выстелив между Собой и им золотую дорожку, по которой тот до поры и шёл.

Когда высоким жаворонком взлетел звук струнного инструмента, словно запела золотая ниточка песочных часов, на Родошина сошёл покой. Нет, сердце его билось учащённо и гулко, но он почувствовал, что взят верный тон, что этот звук, как незримый лучик, пал сейчас на сердца актёров и соединил их единым силовым полем. Все они такие разные, женщины-актрисы и мужчины-актёры, молодые и в больших годах, одинокие и семейные, умные и не очень, пронизательные и недалёкие, грешные и кающиеся, — все они сейчас обрели тот строй, тот лад, который необходим любому ансамблю, тем более такому, который представляет совсем противоположное — полнейший разлад при внешнем благополучии и пристойности.

...Отзвучали последние слова пьесы. Померк свет в усадьбе. Но на этом спектакль не закончился. Чувство боли, утраты, потери подхватил струнный оркестр, который теперь вступил в полную силу, представляя широкий разлив русского поля, неоглядные дали, в которых жить бы да жить, любя и жалея друг друга, как заповедано свыше, а не плодить ранние могилы. При этом занавес — гигантское, как парус, полотно — вдруг начал оживать, обращаясь в экран, и на нём предстал зрительный зал. Это фото было сделано широкоформатной камерой в первом действии, когда актёры спустились

в зал, соединившись со зрителями, дабы смотреть пророческую драму о будущем. Теперь по залу пробежал тихий ропот, словно взволновалось от невидимого порыва ржаное поле. А потом наступила тишина. Весь зал — от партера до галёрки — смотрел на себя в этом неподвижном зеркале. Впереди актёры — Вера Нелюбова, Портнов, Луканина, Луньков, Стромиллова, Полежич, Спирин, сбоку на коляске Тулинский. За ними — зрители. Вот в третьем ряду Лариса, Дюймовочка и Даша. А там дальше — родители Оли Горниковой — мама, папа, а с ними её брат, который, слава Богу, благополучно вернулся из армии. А ещё среди зрителей жена Тулинского и их большеглазый сынок...

Стояла тишина. Только тихо, умолкая уже, звучала струнная музыка. И когда музыка в зале умолкла, стало слышно, как далеко за стеной, где-то в операторской, она звучит, не то в компьютере, не то в наушниках звукооператора, словно угасающее эхо.

20

Даша о его ране узнала прежде, чем коснулась её.

— Я почувствовала это в тире, когда ты стрелял. Вот здесь, — она накрыла ладонью свою ключицу, — так вдруг запекло. А потом увидела твои глаза, когда ты подошёл. Был бледный-бледный...

Они лежали, прижавшись тесно друг к другу. Она целовала его под ключицей, где пуля вошла, и гладила вмятину под лопаткой, где она вышла. И странное дело, боль, которая все последние дни не отпускала его, мучая своим раскалённым жалом, стала утихать, гаснуть, а следом возвращались силы.

Это было у Даши дома. Родюшин примчался к ней с премьерной пирушки. Брат её уехал навестить свою мать, и квартира была в их полном распоряжении.

Родюшин заявился к Даше среди ночи, обдав её свежим морозом и ароматом белых роз, которые специально отложил от премьерных букетов. Галантно поцеловал Дашину руку, вручил цветы, тотчас повинился, что раньше никак не мог. Послепремьерная сходка — в театре закон. Справляют удачу, справляют провал. А тут такие овации прогремели. Как было не отметить? Но как только представилась возможность, как только почувствовал, что главное сказано и обид у актёров не будет, тотчас и улизнул с пирушки.

Даша хотела его накормить — заранее накрыла стол и собиралась разогреть остывший ужин. Да где там! Как только сомкнулись их руки, а потом губы, они потеряли голову...

“Счастливые часов не наблюдают”, — изрёк классик. Сколько Даша и Родюшин обретались в счастливом беспамятстве, кто знает. Но за стол они попали нескоро, даром что оба проголодались.

Даша поднялась первая, вслух коря себя, что как хозяйка совсем забыла законы гостеприимства. Накинув, что оказалось под рукой — а это была его рубашка, — она порхнула на кухню. Следом, завернувшись в простыню, отправился туда и он. Шефствовал, изображая римского патриция, только что венка лаврового недоставало, и за неимением одного воткнул за ухо листок сухой лаврушки.

Отсевявшись, они принялись обустроить стол: Родюшин открыл сухое вино, Даша включила микроволновку и выложила хлеб. Родюшин тут же отыскал горчицу, намазал ею кусманчик черняшки, как, бывало, говаривали в детдоме, и принялся уплетать его.

— Так сильно проголодался? — изумилась Даша.

— Сто лет не ел, — с трудом выговорил он.

— Неужто там не кормили? — Даша имела в виду театральную пирушку.

— Кормить-то кормили, да по усам текло, а в рот не попадало, — доложил Родюшин и принялся рассказывать, как было дело.

Он на том банкете не ел и не пил. Не ел потому, что было некогда, к тому же — пост, а не пил потому, что хотел предстать перед нею абсолютно трезвым. Последнее, как она убедилась, ему удалось. Как? Помог Луньков,

они договорились. Своё слово Луньков сдержал и налил ему в рюмку только минеральную воду, ни разу не перепутав, хотя сам с устатку и захмелел. Что там было, на банкете? Да много всего. Обходя застолье, Родюшин каждому находил какие-то слова и каждого просил простить его, режиссёра, если что было не так. Особенно ласков был с женщинами. И те, растроганные и подвыпившие, тоже не сдерживали своих чувств. Луканина и Стромилова расцеловали его в обе щёки — одна слева, другая справа, или наоборот. Вера Нелюбова поклонилась по-русски в пояс. Он приобнял её и по-христиански троекратно поцеловал. А Оля Горникова, пылавшая жаром первого успеха, поцеловала его в губы, чем вызвала всеобщие аплодисменты. Правда, одобрили это, как заметил Родюшин, не все — он перехватил ревнивый взгляд Олиного однокурсника, Володи Лукина (тут же кивнул Даше, ты-то, надеюсь, не ревнуешь), и тотчас обратился к нему: дескать, а ну, Яков, запевай. И тот не замешкался:

*Меж высоких хлебов затерялся
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.*

Родюшин подхватил песню. А за ним и другие.

*Ой, беда приключилась страшная!
Мы такой не знавали вовек:
Как у нас — голова бесшабашная —
Застрелился чужой человек!*

Пели почти все, но большинство два-три куплета. Беда русских людей, что перестали петь родимые песни, в которых сердцевина народного духа. Произнося это, Родюшин взмахивал руками, словно дирижировал хором. Володя Лукин, наверное, тоже оборвал бы пение, если бы его не поддерживал Родюшин.

*Суд приехал... допросы... — тошнѣхонько!
Догадались деньжонок собрать:
Осмотрел его лекарь скорѣхонько
И велел где-нибудь закопать.*

*И пришлось нам нежданно-негаданно
Хоронить молодого стрелка,
Без церковного пенья, без ладана,
Без всего, чем могила крепка...*

*Без попов!.. Только солнышко знойное,
Вместо ярого воску свечи,
На лицо непробудно-спокойное,
Не скупясь, наводило лучи;*

*Да высокая рожь колыхалася,
Да пестрели в долине цветы;
Птичка Божья на гроб опускалася
И, чирикнув, летела в кусты...*

В песне восемнадцать куплетов. Они с Володей не пропустили ни одного, ни разу не сбились и довели песню до конца. Впечатление это, разумеется, произвело. Но для Родюшина другое виделось важным: ведь эта завершённая песня и была в сущности окончанием спектакля. Он приобнял Володю, как старший брат младшего, чтобы не держал обиды, и похвалил его за игру: роль маленькая, но исполнил он её от души.

Тут подошла Стромилова.

— Откуда это у вас, Денис Геннадьевич?

Он догадался — о чём она: всё ещё, видать, держит его за столичную штучку и недоумевают, откуда у него такая тяга к русской песне.

— Из детдомовского хора, Сусанна Львовна, — ответил он, но ни голосом, ни взглядом не напомнил ей её давнюю реплику.

Обо всём этом Родюшин поведал Даше, сидя за кухонным столом, где, нарушив рождественский пост, уплетал домашние котлеты. Потом они перекочевали в постель. Спустя время вернулись на кухню и допили вино.

Подкралось незаметно утро, но оно не всполошило их. Родюшину не надо было спешить в театр — выходной, а у Даши занятия начинались вечером. О чём они говорили в эти покойные светлые часы? Обо всём. Но больше всего о премьере.

— Тебе принесли больше всех цветов, — отметила Даша.

— Это не как режиссёру, — отозвался он. — А как к памятнику Косте Треплеву.

— Не шути так, — серьёзно сказала она, даже глаза заблестели. — Пожалуйста, — и продолжала: — Женщина какая-то, вручая цветы, книксен сделала. Помнишь? — Даше важны были все обстоятельства и детали. — А девочка с бантиками!.. Прелесть! Несла розу, видимо, укололась и даже ойкнула, но при этом улыбалась. А вручила и пальчик лизнула — кровь, наверное, выступила.

— Тоже артисткой станет, — меланхолично изрёк Родюшин. — Так и становятся артистами, ибо “кровь” рифмуется с “любовь”.

Он поймал себя на том, что говорит благоглупости — усталость всё-таки сказывалась, но поправляться и как-то сосредотачиваться не стал.

— А актёрам? Кому больше несли цветов? Наверное, Заречной — Оле?

— Да, — кивнула Даша. — Но и Серафиме Андреевне... Как она играла! — Тут же уточнила: — Как вы с нею играли! Ваш дуэт, когда она перевязывает Косте рану. Диалог по пьесе. Но вы словно ещё о чём-то говорили, помимо пьесы... Видел бы ты в этот момент нашу Ирочку.

— Дюймовочку?

— Она сидела с краю, а после первого действия попросила поменяться, села между мной и Ларой. Так ведь уревелась на этой сцене.

— Чувствительная барышня! — отозвался Родюшин. — Надо же! А я думал, она порохом пропахла. Всё уже нипочём.

Даша грустно поджала губы.

— Не-е, у Ирочки всё непросто. — она явно вспомнила о том, что было в тире, и тут же оборвала себя. — А Лариса-то! Руки наши Иринка переплела своими, мы соприкасались. Так на этой сцене у Ларисы рука стала ледяная. Верить?! Я даже покосилась на неё. Лицо белое. Рука ледяная. Куда кровь-то ушла?

Спохватившись, что говорит о косвенном, Даша принялась расхваливать постановку, сценографию, музыкальное сопровождение...

Родюшин не перебивал её, но иногда слегка сдерживал.

— Это Чехова надо хвалить. Чехов — гений. В моём нынешнем возрасте Антон Павлович “Чайку” написал, а я всего лишь поставил.

Даша принялась с жаром возражать, словно кто-то третий непочтительно обошёл с тем, что она приняла всем сердцем. Родюшин радовался и дивился. Что там в её глазах, где, как ему показалось вначале, нет доньшка? Это вообще свойство влюблённой женщины или Дашина суть? И тут же заключил: суть. Ведь ни разу и ни о ком она не отозвалась небрежно, тем более пренебрежительно. Строго — да. Но при этом жалеючи. Как о матери.

Её искренность и нежность, её грация во всех движениях и жестах — даже когда она теряла голову, забываясь в его объятиях, — всё это наполняло сердце Родюшина восторгом.

— Сейчас я себя чувствую, как Чехов на Цейлоне, — сказал он каким-то курлыкающим, даже самому показалось, не своим голосом, когда они разомкнули объятия.

— То есть как? — утишая дыхание, сказала она. — И почему на Цейлоне?

— Там, возвращаясь с Сахалина, он встретил дивную индианку. Она до того очаровала и восхитила его любовью, что, вернувшись в Россию, он ещё долго вспоминал её.

— А когда женился на Книшпер, у него такого не было?

Это Даша спросила время спустя, когда они уже успокоились, до доньшка переплавив свою страсть.

— Не знаю, — пожал плечами Родюшин. — Семейная жизнь покрыта тайной... Едва ли... Есть свидетельства, что она ему была неверна. Однажды приехала к нему в Ялту, чтобы прикрыть свой грех. Ребёнок тогда не родился. Случился выкидыш.

Зачем это Родюшин сейчас говорил, он и сам толком не понимал. Возможно, бессознательно перечил себе. Их отношения с Дашей зашли уже так далеко, что он отдавал себе отчёт — пути назад не было. И может быть, пытаясь с одиночеством, он и вздыхал, что теряет его. Но скорее всего, дело было не только в этом, и даже не столько в этом. Какая-то тень коснулась его сознания, кольнув сердце, словно та чайка, что была подстрелена в чеховской пьесе и залетела в его собственную судьбу. Как и Даша, он на миг вспомнил сцену в тире, согласился, что всё далеко не так просто, и добавил про себя, что не только для её подруги.

Даша, почувствовав его настроение, присмирела и даже затаилась, как малая пичуга. Родюшину стало стыдно. “Ну, что ты минор наводишь, — подсадовал он на себя. — Это же не в театре”. Мягко приобнял её, привлёк к себе, однако вернулся всё-таки к театру, то есть на круги своя, принявшись рассказывать всякие театральные истории. Один такой эпизод случился в день приезда Родюшина, когда он проходил мимо вахты. Вахтёрша — дородная жёнка, то ли насмотрелась телика, то ли была его умнее, но учила уму-разуму свою собеседницу, потом оказалось — театральную костюмершу: “Одними подтяжками, милочка, эффекта не добьёшься. Всё должно быть в комплексе. Как говорил Чехов — “и душа, и тело, и одежда”. Не хандри, не раскисай. И делай “чиз”, даже если у тебя нет того сыра ни на бутерброде, ни в холодильнике!”

Представляя давнюю картинку, Родюшин разыграл участниц диалога в лицах — актёр же! — только об одном промолчал — с чего начался тот разговор. Костюмерша посетовала, что в этом году необычайно рано зажелтели берёзы. В связи с этим бабка её, ведунья, девяноста с лишком лет от роду, изрекла, что это не к добру: старые берёзы рано чахнут — помирать чохом станут старики, а если с тонких берёзок посыпалась листва — смерть будет косить молодых.

Вот после этих слов вахтёрша — бой-баба — и отхватила, как говорит Костя Треплев, свой монолог.

— Я стоял за углом и давился от смеха. “Делай “чиз”, даже если у тебя...” Ей бы на сцене играть, а она на вахте сидит.

Тут у Даши возник вопрос. Отемеявшись, она спросила:

— А как ты-то в театр попал? Ты не рассказывал...

— Как? — он обеими пятернями привычно закинул волосы назад и приподнялся на локте. — Песня это долгая. Но если в двух словах, так... После госпиталя вышел в запас. Поехал на родину, то есть в детдом. Тёти Мани уже не было. Навестил могилу, погоревал. Куда дальше? Душа привела в монастырь. Думал, тут моё место — среди братии, коли нет родни. Но встретил одного старца, он в скиту обретался, тот и надоумил меня. Живи, говорит, в миру. Там хаос, особенно в среде людей культуры, искусства. Ступай туда, там твоё место. Я сам это чувствовал. После детдома, перед армией, работал осветителем на телестудии. Бывал в мастерских художников, за кулисами театральными, в цирке... Насмотрелся всякого, в том числе бевовщины. До содрогания насмотрелся, до ненависти. Вот старец-то мне глаза и открыл — иди туда и воюй, — словно знал моё назначение. Духовидец был. Совета я послушался. Сначала на сценарный поступил, потом на сцену потянуло — аукнулись наши детдомовские капустники, я там не последний был. А с третьего курса режиссурой занялся, ставил студенческие спектакли,

на пятом пригласили режиссёром в ТЮЗ. Закончил учёбу с двумя дипломами — актёрским и режиссёрским.

Родюшин умолк, сел на постели, изображая роденовского “Мыслителя”, дескать, вот я какой, добился заслуженной Дашиной улыбки, она сопроводила её индийским жестом поклонения. Потом выпрямился, снова закинул назад волосы и, потирая ключицу, тихо добавил:

— Хаос не осмыслить, наверное. Это удел Бога. Но вокруг себя его надо пытаться укротить.

21

Контрактные деньги обычно выплачивали не сразу. Родюшин это знал по опыту. Юристы, готовившие документы, ни разу, на его памяти, не прописали пункт о неустойке. Потому дирекция, приглашавшая режиссёра, всякий раз вольнилась, откладывая выплаты, или выдавала оговорённую сумму по частям, иногда в два-три приёма. Довод же у чиновников практически не менялся — нет денег, притом, что себя, любимых, благами они, конечно, не обделяли. Так было в средней полосе, так было на Урале и в Сибири — везде, где он работал в качестве приглашённого режиссёра. А тут выплатили всё до копейки, да притом досрочно.

Директор вызвал Родюшина пятнадцатого декабря под вечер и объявил, что деньги на его банковский счёт переведены и, стало быть, он, приглашённый режиссёр, может чувствовать себя свободным.

— Чувствую себя свободным я всегда, Леон Маркович. — Родюшин сидел напротив директора за приставным столом. — Другое дело — обязанным. Благодарю вас за любезность. Но у меня ещё есть здесь дела.

— Какие дела? — подозрительно вытянулся “господин импресарио” и неожиданно покосился влево — там находилась представительская комната, и за полуприкрытой-полуоткрытой дверью, видимо, кто-то был.

— Дела по передаче спектакля, — ответил Родюшин. — Надо поработать с заменой. На мою роль, то есть роль Треплева, я рекомендовал Володю Лукина. Он готов — роль знает. Актёр способный, даже талантливый. Однако немного надо порепетировать — это мы уже делаем, — чтобы с нового года ему войти в спектакль в новом качестве. Ну, и на его место, на роль Якова, надо подобрать актёра. Сам ещё не видел, но, говорят, есть хороший паренёк в вашем колледже, на третьем курсе учится...

Родюшин сделал паузу, без особого труда извлёк из своего театрального арсенала подобающую улыбку и заключил:

— Так что, с вашего позволения, господин импресарио, выполню свой долг до конца, дабы оставить спектакль в рабочем состоянии.

— Ну-у, хорошо, — пробурчал директор, супя крашенные брови и опасно поводя левым плечом. — До... тридцатого декабря. Согласно контракту. — На последнем слове он маленько замешкался, чтобы язык не вильнул не в ту сторону.

Родюшин догадывался, кто таится за приватной дверью, однако не подал виду, что догадывается. Раскланявшись с директором, он вышел. Походка его была непринуждённая и твердая, какой и должна быть походка зрелого, свободного и сознающего своё достоинство человека. Что же касается догадок и неких предупредительных знаков, он не делал из них никаких выводов и не предпринимал никаких попыток что-то изменить, ускорить, перекроить. Нет. Он продолжал жить, как привык — не таясь, не увиливая, глядя прямо в глаза человеку, кто бы он ни был — друг или враг.

Вернулся из поездки к матери Даши брат, Артём. Даша опасалась, что они с Родюшиным не поладят: они же такие разные — инфантильный парень с вихляющей походкой да нечёсанными лохмами и уже зрелый, умудрённый жизнью мужчина. Придётся как-то приспособливаться, говорила она Родюшину, либо вообще перебраться в его временное жилище — “берлогу”. Но, на удивление Даши, всё сложилось почти без притирок.

Сколько Даша билась, чтобы братец не разбрасывал где попало свои носки, чтобы чаще их стирал — ничего не помогало. Хоть кол на голове

теши. А тут смотрит: стиранные носки висят на сушилке. Чудеса, да и только.

А чудес никаких не было. Родюшин перестирал брошенные Тёмой носки вместе со своими, а потом поговорил с ним. Нет, нотаций не читал. Рассказал немного о детдоме, об армии, а главное, о том, как привычки, усвоенные в детдоме, помогли в армейской службе. У домашних ребят многих навыков не было, не привыкли за собой следить, себя обихаживать. В итоге что? Из-за грязных портянок или носков, непросушенных ботинок или сапог — сбитые суставы, опрелые пальцы. А появились болячки на ногах — выскочат они и на теле, и на шее, и в потаённых местах. Как служить, коли тут и там щиплет, ноет, болит?! А уж на боевых — такое и вовсе, как рана. Ведь когда что-то саднит, колет, бдительность теряешь. В результате из-за какого-то чирья недолго пулю схватить.

Тут Родюшин почти буквально наступил на Тёмину мозоль. У парня оказались и опрелости, и фурункулы, но говорить, тем более показываться врачу, он стеснялся. Что с ним было делать? Родюшин принёс мазь. Велел каждый день принимать душ и болячки смазывать. Через два дня достаточно было взгляда, чтобы Тёма бежал выполнять процедуру.

Тогда же Родюшин осмотрел Тёмину обувь. Обувка модная, оценил он, но добавил, что если он, Артём, будет и дальше носить такую обувь, то через десять лет станет инвалидом — она же не дышит, ноги в этих бусах преют, суставы оплывают. От слов Родюшин перешёл к делу. Повёл парня в обувной магазин, купили нормальные кожаные ботинки на натуральном меху, тёплые носки из хлопчатки. Вроде даже походка у парня изменилась, вихляться перестал. Это отметила Даша.

Однажды Родюшин спросил Артёма, есть ли у него девушка. Тот помялся, поморщился, признался, что девушка была, но потом что-то разладилось. Почему разладилось, не говорил, но Родюшин догадывался. Эти грязные носки, дурно пахнущие зимние кроссовки — кому такое понравится?! Плюс к этому юношеские прыщи, бледная кожа, тщедушный вид — ему никак не дать даже восемнадцати. А всё почему? Потому что не научен ничему — ни гигиене, ни здоровому питанию. Ну какое здоровье, какой вид будет у парня от этой пищевой дряни — попкорна да кока-колы?! Упрекать, наставлять Артёма Родюшин не стал. Просто как-то вечером, когда Даша была на работе, он звал его на кухню и стал показывать, как варить борщ, они вместе чистили картошку, резали лук... Между делом Родюшин растворил тесто, испёк оладьи, и они пили чай. Вот тут в самый раз было поговорить и о девушках.

Что вспомнилось Родюшину? До армии у него была подруга, вместе росли в детдоме. Когда провожала на службу, обещала ждать. Однако слова не сдержала. Он вернулся, а она уже замужем и ждёт ребёнка. Даше Родюшин об этой истории не говорил, потому что это было в прошлом и перестало быть главным. А вот Артёму поведал. И признался, что очень переживал тогда, горевал и убивался, даже в монастырь уходил. А теперь думает, что Бог отвёл ту первую любовь, точнее уже — продолжение её.

— Ведь если бы я с нею остался, я не встретил бы твою сестру, — заключил Родюшин.

Он готовился к своему последнему в этом театре спектаклю, когда позвонила Даша.

— Я у Ларисы, — сказала она. — Ты можешь сейчас заглянуть сюда?

Через несколько минут Родюшин был в литчасти. Летел он сюда самым коротким путём — через кулисы, на сей раз без происшествий: никаких “триумфальных арок” на пути не было. Даша сидела у окна. Ларисы на месте не оказалось — её позвала к себе в гримёрку мать, что-то опять случилось с братом.

— Сядь сюда, — сказала Даша. Сама она сидела на том самом месте, где Родюшин её впервые увидел.

— Ты помнишь, с каких слов началось наше знакомство? — тихо спросила Даша.

— Ну как же! — воскликнул Родюшин, — “Третья молвила сестрица, — я б для батюшки-царя родила богатыря”.

— Вот, — потупилась Даша. — А слова-то те, похоже, вещими оказались... Я только что от врача...

— Неужто? — вытаращил глаза Родюшин, вскочив со стула. — Дашенька! — Сграбастал её в объятия, подхватил на руки, закружил, сколько позволяло пространство, кажется, и боль прошла, когда услышал счастливую новость. — Дарина подарит мне сына!

Как он её только ни называл все эти дни — Дашутка, Дашенька, Дарьюшка, даже Одарка, даже Даротея, а так ни разу.

— Голова закружилась, — смеялась Даша. — Отпусти, Денис. Слышишь?!

Родюшин послушался, поставил Дашу на пол, но из объятий не выпустил.

— Срочно под венец! — он целовал её в глаза, в щёки, в губы.

— Так батюшка ведь не обвенчает, — задыхаясь от поцелуев, отвечала она. — Нужна справка загса.

— Тогда срочно в заге! Немедля! Неужто блюстители закона не пойдут навстречу? Был же кто-то на спектакле из загса. Они же видели, как люди погибают от любви!

Родюшин наверняка ринулся бы осуществлять задуманное, даром что был уже облачён в костюм Треплева, да Даша его остановила — голова у неё кружилась, но головы она всё же не теряла:

— Через полчаса тебе на сцену. К тому же сегодня выходной. Забыл?

В загсе они побывали через день. Из-за прописки Родюшина возникли сложности. Но потом выход был найден, и им предложили для регистрации середину января. После этого, не откладывая, они пошли покупать кольца.

Сидя дома за чаем, Даша с Денисом обсуждали, что нужно успеть сделать до означенного дня, и то и дело поглядывали на коробочку с кольцами.

Родюшин украшений никогда не носил. Даша носила кольцо по принуждению. Тут и возник вопрос, как же она решилась и отказалась от него.

— Я не думала, что так быстро всё произойдёт, что наконец решусь. Они, — она имела в виду своих мать и сестру, — назвали дату. — Дату эту назначил претендент на её руку, Даша ни разу не назвала его по имени, только “он”. — И тут что-то со мной случилось, будто глаза открылись. — Даша отёрла рукой лицо, точно смахнула докучную паутинку. — Я подумала о тебе. Ты не боялся. На пули шёл. А я что же? Добровольно в полон иду? Стыдно стало. Сняла кольцо, положила на стол. Вот, говорю, если вы меня принудите, я отравлюсь. Здесь — мгновенный яд, показала капсулу и — к дверям. Они даже не шелохнулись.

— Что, действительно у тебя яд? — выдохнул Родюшин.

— Нет, — Даша покачала головой. — Под рукой бусинка оказалась.

— Ну, Даша, — голос Родюшина даже осип, — по тебе Шекспир скушает.

— Не шути, — вздохнула она и задумчиво повторила то, что уже говорила: — Всё не так просто.

А на следующий день принёс новость Родюшин.

— Даша, — едва не с порога сообщил он. — Мне предлагают новый контракт.

Разделся, прошёл, обняв Дашу, в гостиную, усадил её на диван, а сам встал перед ней в позу чтеца-декламатора или трагика.

— Спектакль посмотрела губернаторша, то бишь жена губернатора. Говорят, расчувствовалась, всплакнула. А узнав, что режиссёр спектакля приглашённый, стала настойчиво убеждать своё окологосударственное окружение продолжить сотрудничество с этим режиссёром. “Таковыми талантами разбрасываться нельзя!” Это не мои — её слова. Видишь, как ценят твоего жениха?!

Родюшин впервые произнёс это слово и сам удивился, что оно относится к нему самому.

— И что? — Даша поднялась с дивана.

— Что “что”? — не понял или сделал вид, что не понял, Родюшин. Ему нравилась эта мизансцена.

— Что дальше-то? — встряхнула руками Даша, пытаясь добиться результата.

— А что дальше... Директор помялся, конечно, поманежил, но куда денешься? — Родюшин поднял большой палец, ткнув вверх. — Заключаем новый контракт. Буду ставить новую пьесу, снова классику и — что бы ты думала? А-а?

Пауза опять затянулась. Он же был актёр.

— Ну что? Ну что? — Даша в нетерпении даже постучала по его груди.

— “Бесприданницу”, — наконец возвестил Родюшин. Даша при этом немного поёжилась. — А назовём спектакль именем владельца “заводов, газет и пароходов” — “Паратов”. Как тебе?

Даша хотела что-то сказать, но не смогла. Глаза её затуманились, и чтобы не выдать себя, она уткнулась в его грудь. А Родюшин, охваченный азартом предстоящей работы, принялся перечислять актёров, которых займёт в спектакле. Тут были все, с кем уже сработался, — но особо Родюшин выделил человека, не состоявшего в труппе.

— Помнишь, говорил о монтировщике, рабочем сцены, бывшем актёре? — “Да-да”, — кивала Даша, пряча глаза. — Хочу попробовать его на роль Робинзона. Он же вылитый, по-моему...

22

Было двадцать восьмое декабря, пятница. Даша находилась дома одна и готовила обед, поджидая брата и Родюшина. Скобяная лавка, где работал Артём, была через улицу, и брат по настоянию Родюшина стал регулярно обедать дома, отпрашиваясь хотя бы на полчаса. Родюшин с утра ушёл в театр. Сегодня ему предстояла телевизионная запись — областная телестудия вела цикл программ “Итоги уходящего года”, снимая сюжеты о наиболее значимых событиях, — и он отправился пораньше, чтобы подготовиться к беседе.

В гостиной бубнил телевизор. Передавали центральные новости. Значит, время за полдень. Вскоре раздались позывные областного телевидения. Что-то дежурное произнёс диктор, но больше звуков никаких не последовало. Отвлекаться да выяснять, что да как, Даше было некогда. Она пережаривала лук, помешивая его на сковородке, чтобы не пригорел. Сейчас это было важнее. Она собиралась попотчевать Дениса постными щами, которые чудесно, по его словам, готовила тётя Маня. “Ничего вкуснее не едал”. Вот Даше и хотелось услышать от него такие слова.

В гостиную Даша заглянула через несколько минут. Показывали программу месячной давности, которую передавали сразу после премьеры “Чайки”. Однако сейчас передача шла почему-то без звука. Она коснулась панели — тут всё было в порядке. Стало быть, либо техническая накладка, либо... так задумано. Дашу охватила тревога. Сердце встрепенулось и забилось часто-часто. Она сходила на кухню, выключила газ и медленно вернулась обратно.

Сюжет с премьеры закончился. Появилось лицо ведущего — это был седой человек с молодым лицом, который и записывал прошедшую программу. Прорезался звук. Голос ведущего был натянута и сбивчив.

— Сегодня мы с оператором пришли в театр, чтобы записать интервью с режиссёром спектакля “Чайка” Денисом Геннадьевичем Родюшиным.

На экране возник портрет — это был снимок, видимо, сделанный во время репетиции: на лбу — пряди, поперечная складка, глаза распахнуты, ноздри раздуты — лицо человека, выполняющего тяжёлую физическую работу. Однако руки при этом свободны, они вскинута на уровне плеч. Где же, спрашивается, тут усилие? Но взглядишь: руки с растопыренными пальцами словно сжимают какую-то невидимую, но тугую пружину, до того напряжены. “Хаос, — вспомнилось Даше, — надо всеми силами сдерживать хаос”.

— Мы договорились с оператором, что он включит камеру заранее, снаружи репетиционной комнаты, чтобы, открыв дверь, сразу направить объектив на лицо режиссёра, застать его в рабочем состоянии, наедине с собой. И вот что далее произошло...

Дверь репетиционной растворилась, представляя большое помещение. И тотчас же раздался грохот. Это распахнулась оконная рама, что находится

напротив входной двери. Сквозняк взметнул тяжёлые шторы, закрывавшие широкий подоконник и оконные проёмы, какие-то бумаги, лежавшие на большом, покрытом зелёной скатертью столе, они взметнулись и закружились... За столом никого не было. Камера двинулась вглубь помещения, и тут объектив упал вниз. На полу головой к дверям лежал человек. Правая рука его была откинута, а в ней — оператор сделал увеличение — чернел пистолет. Объектив медленно двинулся по согнутой руке, замер на лице лежащего навзничь человека. Это был Родюшин. На виске его темнела спекающаяся кровь.

У Даши подогнулись колени, и, потеряв сознание, она упала.

Сюжет этот повторяли потом много раз. Падкие до сенсаций телевизионщики не упускали случая, чтобы привлечь внимание зрителей такой эксклюзивной, как повторялось на все лады, съёмкой. Как же! Они оказались первыми на месте происшествия — раньше врачей и раньше полиции. Повторы сопровождались комментариями врача, следователей, рассуждениями представителей городского и областного управлений культуры. Один раз дали сюжет в замедленном режиме. Но даже и в такой передаче никто не заметил, а если и заметил, не придавал значения одной детали, а именно круглой металлической баночке, которую смахнул с подоконника порыв ветра, она упала на пол, покатилась под книжный шкаф, стоявший подле окна, и там закатилась в выбоину от давно сломанной дощечки паркета.

Похороны режиссёра Родюшина состоялись уже в новом году — четвёртого января. Гражданская панихида проходила в театре. Гроб стоял в центре сцены. На столике в изголовье лежали две подушечки. На одной тускло мерцал орден Красной Звезды, на другой блестела медаль “За отвагу”. Возле гроба, вся в чёрном и сама почерневшая от горя, сидела Даша, невенчаная вдова.

На панихиду собрались все актёры — и игравшие в спектакле Родюшина, и те, кто не работал у него. Не было только Луканиной. Серафима Андреевна в этот день хоронила своего сына.

Сын Луканиной погиб двадцать девятого декабря в автомобильной катастрофе. По официальной версии следовало, что, сидя за рулём, он не справился с управлением автомобиля и врезался в железобетонную опору моста. В зальчике для прощания при больничном морге, помимо матери и сестры, присутствовали два широкоплечих молодых человека, которые прислонили к закрытому гробу венок от одноклассников — так значилось на ленте. На кладбище они не поехали.

А Родюшина после гражданской панихиды перенесли в ближнюю церковь, где состоялось отпевание. Священник, отец Агапий, которому Родюшин не раз исповедовался, ни на миг не усомнился, что раб Божий Дионисий тяжкого греха самоубийства не совершал, и отслужил отпевание по полному чину.

Даша стояла в церкви ни жива ни мертва. Голова поникла, глаза ослепли от слёз, сердце едва билось, и в какой-то миг ей захотелось, чтобы оно совсем умолкло, её наболевшее сердце, и так вдруг сладко стало от этой мысли и от этого желанья, что она уже потянулась туда. Но ниже сердца вдруг что-то трепетнулось, будто пламя свечи в её руке, она вздрогнула, опустила правую руку на живот и повела взглядом. Рядом стояли Артём, единокровный брат, подруга Ирина. Рядом были Вера Нелюбова, Оля Горникова, Володя Лукин — актёры Родюшина, её сверстники или погодки. Даша тихо вздохнула, чтобы даже не ворохнулось пламя свечи, и подняла взгляд к иконостасу.

А высоко под купол, где парила душа Родюшина, возносился высокий чистый голос:

— Господи, омилиуй! Господи, омилиуй! Господи, омилиуй!